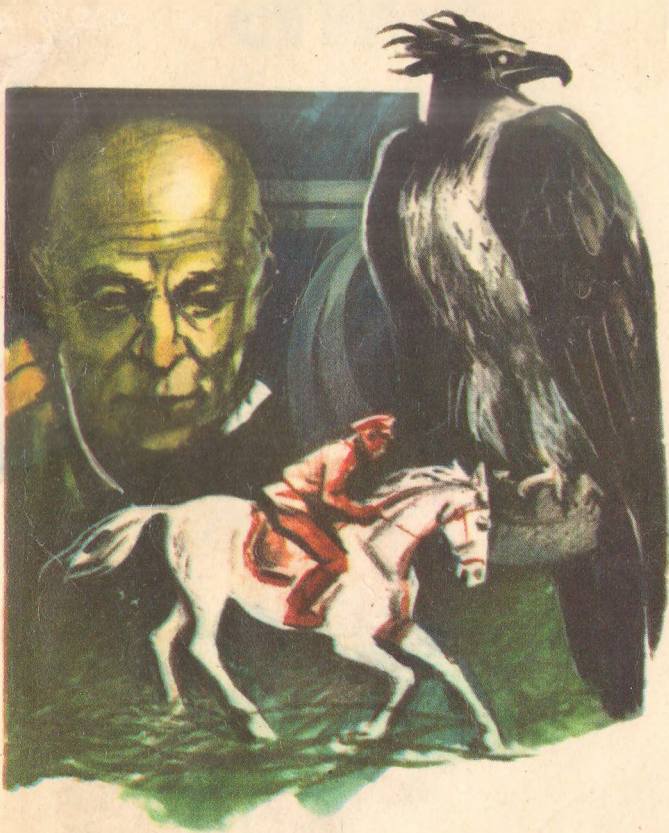




АНАТОЛИЙ КОРОЛЕВ

**СТРАЖ  
ЗАПАДНИ**



P2  
K68



---

АНАТОЛИЙ КОРОЛЕВ

**СТРАЖ  
ЗАПАДНИ**

ПОВЕСТЬ



---

МОСКВА  
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»  
1984

84P7  
К 68



АНАТОЛИЙ КОРОТКОВ

СТРАН  
НИДАПАС

1984

К  $\frac{4702010200--237}{078(02)--84}$  172—84



© Издательство «Молодая гвардия», 1984 г.



Белый конь первым услышал летящий аэроплан и дрогнул чутким ухом: сначала далеко-далеко, почти на самом краю чистого неба, в той стороне, где жарко клубилось полуденное солнце, донесся тревожный шорох, словно кто-то крался по небесным былинкам, затем слабый звук усилился, набряк металлическим рокотом: «тр-ррр-р...» Звук набегал, как тень от облачка. Молоденький всадник завертел головой, пытаясь отыскать в пустом небе ту опасную точку, откуда сыпался на землю невидимый град, и ничего не замечал. На небосводе лежали редкие ленивые облака, в ясной вышине лоскутком трепыхал колоколец — полевой жаворонок... Аэроплан вынырнул со стороны солнца, сверкнул крыльями с парой белогвардейских колец. Сашка-Соловей хотел было пришпорить коня, доскакать в один дух до дубовой рощицы впереди — посреди степи он был весь на виду, но вражеский самолет шел курсом много правее. «Но-о», — спокойно тронул Сашка поводьями, и жеребец-трехлеток Караул послушно пошел легкой рысью, только опасливо прядая ушами от нависшего барабанного треска.

Его беспокойство передалось пугливой птице. К седлу всадника была приторочена переносная походная клетка из ивовых прутьев с почтовым голубем. От рокота мотора турман беспокойно заворочался на исцарапанной жердочке, попытался расправить в тесноте сложенные крылья. И все трое — белый конь, красный конник и боязливая птица — слились комком в одном тревожном предчувствии.

Поразить цель на бредущем полете из автоматического пистолета «парабеллум», даже если расстрелять весь восьмизарядный магазин, было почти безнадежно, тем более попасть в одинокого седока посреди летней степи. Но красноармеец — пилот понял это по гимнастерке без



погон и голове без форменной фуражки, — красноармеец продолжал свой путь с такой вызывающей дерзостью, даже не прищипывая коня, чтобы добраться вскачь хотя бы вон до той спасительной рощицы, что поручик Винтер, не выдержав, круто заложил вираж влево и развернул свой биплан к цели.

«Ньюпор-IV» оглушительно стрельнул двигателем и сделал резкий рывок в сторону всадника на белом коне.

— Пшел! — крикнул Сашка, давая шенкеля и припадая к шее коня.

С напуганным «фррр» из-под копыт порскнул выводок куропаток.

Сдувая на край небосклона замолкшего жаворонка, биплан стремительно шел на снижение к скачущей мишени.

500 метров...

400...

300...

Выбросив из-за стеклянного козырька тяжелый пистолет девятого калибра, пилот первой авиароты при ставке ВСЮР (Вооруженные силы Юга России) Виктор Винтер стал наугад палить вниз, стараясь не столько попасть в цель, сколько не врезаться в страшно близкую землю, которая всплывала к колесам шасси волнами ковыля. Один выстрел. Второй. Третий. Четвертый. Белыми клочками разлетелась в траве перепелиная стайка. Выстрелы ударили по земле звонкими градинами.

Солнечное небо полыхнуло ледяной смертью. Аэроплан пронесся вперед, проволочив справа свою черную тень. Сашку накрыло сизым шлейфом выхлопных газов. Коня хлестануло по спине горячими каплями касторового масла. Голубя швырнуло грудью на плетеную стенку.

«Ньюпор» набирал высоту.

«Тпру!» Соловей резко осадил коня: бежать ему, вестовому командира кавдивизии, от золотопогонника было глупо и стыдно. От рывка удилами Караул встал на дыбы, задушенно заржал, раздирая алый рот в снежной пене.

Розово-сизый дым выхлопов бил в нос сладкой вонью церковного ладана, как на похоронах, и Сашке-Соловью на миг стало страшно: белогвардейский аэроплан разворачивался на второй заход.

Рука нащупала ремень от боевой винтовки за плечами.

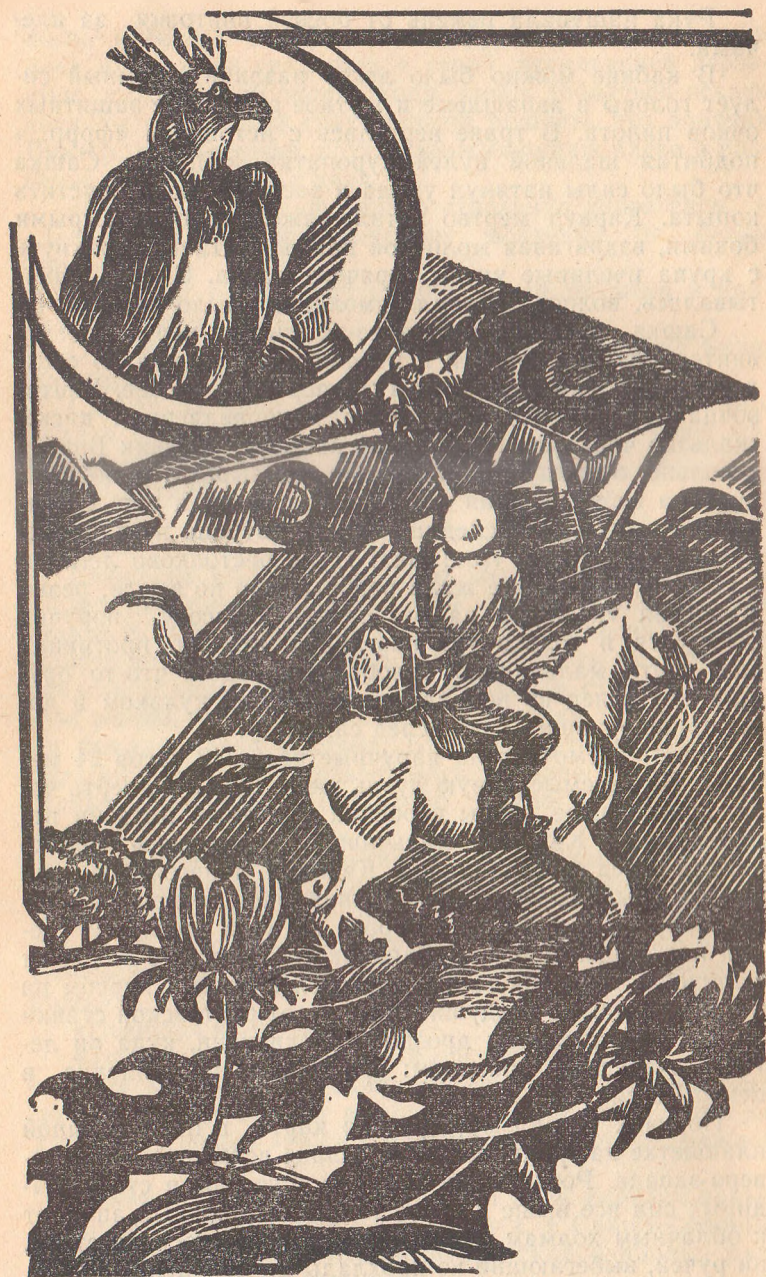
В кабине можно было легко различить темный силуэт головы в авиашлеме и жуткое сверкание защитных очков пилота. В траве вертелась с истощенным «фррр...» подбитая шальной пулей куропатка. «Тпрру!» Сашка что было силы натянул удила и заставил коня опустить копыта. Караул мертво встал, тяжело поводя сырыми боками, вздрагивая молочной кожей, пытаясь стряхнуть с крупы пчелиные укусы горячего масла. Смерть накатывалась, волоча по земле смоляное крыло своей тени.

Сашка отчаянно стянул из-за спины через голову винтовочку «вистерле» и с ненавистью пальнул по стеклянным рыбьим глазам на гуттаперчевой голове. Винтовочная пуля утонула в сияющем пропеллерном диске, скользко чиркнула по обшивке кабины. Поручик Винтер невольно отпрянул от защитного козырька и потянул руль на себя, задирая нос биплана вверх и уже машинально выпуская последние четыре патрона из парабеллума. Пах! П-пах! Пах! Бах! Пули бестолково легли в стороне, свинцовые жала разбрызгало по земле; резко поднимая «нюпор» на безопасную высоту, поручик оглянулся и только тут разглядел, что его противник еще почти мальчишка: белобрысый седок, что-то орущий ему вслед во всю глотку, грозящий кулаком и даже прищипоривший коня вслед самолету.

Пилот посмотрел на наручные часы: 12 часов 24 минуты. На бессмысленную дуэль ушла целая четверть часа, драгоценные литры керосина и полный магазин парабеллума... Красный мальчишка, уменьшаясь, дерзко скакал вслед за аэропланом. Кажется, донесся еще один винтовочный выстрел. Успокаивая расшалившиеся нервы, поручик аккуратно и строго по всем правилам сделал над рощей поворот «блинчиком», то есть с большим радиусом, не давая крена, и вышел прежним курсом на незримую линию воздушного моста от ростовской ставки на полевой аэродром дроздовской дивизии, куда он летел с очередным приказом: продолжать наступление в центр России.

Поручик сверил маршрут по карте в целлулоидной планшетке на груди, зенитное солнце встало точно на северо-западе. Ротативный мотор мощностью в сто лошадиных сил все выше и выше тянул летательный аппарат к облачным холмам. Ни дубовая рощица посреди степи, ни ручей, выбегающий из прохлады на полуденный зной,







ни тем более всадник на белой лошади с притороченной к седлу переносной клеткой для почтового голубя не были обозначены на крупномасштабной карте пилота как слишком незначительные топографические объекты. А ведь в том самом ручном почтаре, который сейчас смотрит ошалело сквозь ивовые прутья на белый свет, может быть, таится смертельная угроза ему, барону Винтеру, воевавшему на двух собственных аэропланах: двухместном «вуазене» и нынешнем «ньюпоре». А уж собственную смерть, наверное, можно было бы обозначить хотя бы маленьким крестиком, каким обычно наносят на карты кладбища или отдельно стоящие часовни...

«Ньюпор-IV» шел прямо по курсу на высоте около 1000 метров со скоростью 85 километров в час; мотор марки «гном» с равнодушной силой высасывал из карбюратора горячую смесь в цилиндр, так же равнодушно сжимал ее до вспышки запальной свечи; коленчатый вал делал очередной поворот, вращая воздушный винт. И в этой механической жвачке не было ровным счетом ничего от того восторга, с каким летает во сне человек или молодая сильная птица наяву.

На месте недавнего поединка в густом знойном воздухе еще некоторое время висел стеклянисто-сизый шлейф от выхлопных газов да билась в тишине оглохшая раненая куропатка, словно досыта купалась в пыли... Доскакав до дубовой рощи, Сашка-Соловей чуть было с ходу не пустил жеребца прямо в ручей, но, опомнившись, соскочил с седла и оттащил запаренного коня в тень — поостыть, и сам тут же устало растянулся в густой траве. Ему было бы совестно напиться сразу и одному на глазах верного Караула. Здесь, от этой вот рощицы, начинались знакомые места — меньше десяти верст до расположения дивизии... Он лежал, раскинув руки, тяжело дыша после схватки, — связной командира кавалерийской дивизии имени Третьего Коммунистического Интернационала, семнадцатилетний Сашка Соловьев по прозвищу Соловей, лежал и по-мальчишески ругал себя за неоправданный риск в степи, за случай, который мог бы сорвать выполнение боевого приказа в случае гибели или ранения. Ему было стыдно перед Революцией... Он лежал, раскинув руки, солнечные пятна бродили по его лицу, солнечные брызги били частыми вспышками сквозь листву прямо в прищуренные глаза. Караул шумно дышал над ним. Вот, повернув назад тя-

желую голову на мощной шее, конь обнюхивает цепочку горчичных капель смазочного масла, остывших на белоснежной коже; касторовые капли заставляют тревожно вздрагивать его чуткие ноздри. Голубь в тесной клетке полусонно оправлял клювом взбитые дыбом перышки на грудке. Прозрачный ручей в зеленой тени отливал золотистой струей нападавшей рыжей пыли. Необъятные стволы уходили высоко-высоко вверх и сливались в вышине пышными тяжелыми кронами. Безмятежно пели дубовые цикады. В роще от зноя прятался ветерок, и порой литая дубовая листва вдруг разом легко вздыхала всей необъятной массой разлапистых листьев, и кроны покрывались металлической рябью. Там, в темной глубине веток и листьев, простреленных солнцем, разгоряченному схваткой Сашке чудились то какие-то военные действия, атаки и рейды, где вспышки света, как взрывы махоньких бомб, то чьи-то печальные женские лица, то клюв, когти и распростертые крылья зловещей птицы. Порой ему слышался в шуме дубравы воздушный шорох летящего назад аэроплана.

Сашка закрывал глаза, но солнце проникало и сквозь сомкнутые на миг веки, сияло в лицо тем же пугающим отблеском, каким сверкали в небе защитный козырек самолета и огромные стеклянные глазницы пилота... Сашка-Соловей не знал, что в секретном пакете на груди, с которым он скачет вот уже почти сутки обратно к своим от штабарма, отдан приказ наступать. Не знал, но понимал, что в пакете обозначена и его боевая планида. Ведь он всегда был готов в бой за победу, и не зря ему виделась сейчас, в самый разгар солнечного полудня, яростная гроза Революции. И это ее яркими вспышками фосфорически озарены в полумраке дубравы молочный конь, красный всадник, белый голубь, и это ее бесконечный грозовой ливень заливал Сашкино лицо солнечным светом. Но мрак не сдается, вот почему в пятнах солнца и ночи на изнанке дубовой листвы, в атаках и сражениях теней и бликов — всадники света против конницы тьмы. И Сашке то и дело мерещится какая-то неведомая черно-белая птица, страж вражеской за-падни.

Казалось, город не замечал охотившуюся тварь, люди редко смотрели в небо, да она и не лезла на глаза, большую часть дня притаившись на верху полусгоревшей пожарной каланчи, вцепившись когтями в обугленный подоконник амбразуры. Но зато ее хорошо видели птицы, и когда южноамериканская гарпия по утрам взлетала над Энском с балкона гостиницы «Отдых Меркурия», и без того распуганная выстрелами пернатая мелюзга пряталась по укрытиям. Даже глупые куры, спрятанные по сараям, примолкали, словно бы и они замечали ее ледяной взор из засады да короткие перелеты от каланчи к низкой колоколенке Крестовоздвиженского собора и обратно.

За три дня на счету гарпии было всего две удачи: городской сизарь да попугай жако, которого она схватила, просунув лапу в клетку, стоявшую на подоконнике открытого окна. У клетки были редкие прутья, и все же, сцапав орущего попугая, гарпия не смогла выдернуть жертву наружу. Все это произошло прямо на глазах неосторожной хозяйки, модистки Саниной. Увидев гарпию и смерть своего любимого жако, она упала в обморок.

Краснохвостый жако — лучший из всех разнообразнейших говорящих попугаев: ни амазоны, ни какаду, ни лори не сравнятся с жако. Он способен легко запомнить и отчетливо выговорить до сотни слов. Например, попугай модистки умел кричать такую тираду: «Стой, выше ногу, равняйся, смотри, готовься, на плечо, пли, шагом марш, браво, брависсимо, алло, поцелуй хорошенько...» А заканчивал тираду попка такой вот командой: «Ваше величество, принесите мне туфли! Живо, служивый!»

До 2 марта 1917 года, когда император Николай II



отрекся от престола в пользу брата Михаила, такая фраза была совершенно неприличной.

Бросив мертвого попугая на дно клетки, гарпия вылетела из окна.

Итак, целый день голодная бестия караулила пернатую жертву, царила над прифронтовым Энском. Ни взлететь, ни пересвистнуться городским пичугам. Даже бродячие кошки и те перебегали с опаской пустую базарную площадь. Только энские мальчишки ничего не боялись и вот уже несколько раз, каждое утро, сбегались к гостинице, чтобы поглазеть, как на балкон третьего этажа выходит, шаркая туфлями, заспанный, в стеганом люстриновом халате нерусский постоялец, открывает и выпускает из клетки полуручную жуткую птицу, которая тяжело взлетает и летит к каланче в засаду на весь августовский день, почти до захода солнца.

Гарпия принадлежала заезжему гастролеру, владельцу передвижного экзотического менажера (зооцирка) «Колизей», пятидесятилетнему итальянцу Умберто Бузонни. Птица входила в число тех «семи ужасных чудес Старого и Нового Света», которых возило на показ по России предприимчивое семейство: Умберто — антрепренер; Паола — его жена; Бьянка — дочь; Цезаре и Марчелло — сыновья да еще племянник Бузонни — почти сверстник своего дяди, сорокасемилетний Ринальто, демонстратор. Турне имело шумный успех, причинами которого Умберто считал, во-первых, беспросветную российскую скуку, а во-вторых, изобилие легковверных невежд и простофиль, какие могли легко клянуть, например, на такую наглую афишку, отпечатанную в московской типографии Филимонова в 1913 году:

## 10 ЛЕТ ТУРНЕ ПО ЗЕМНОМУ ШАРУ

Всемирно известный передвижной звериный театр «Колизей» настоящего итальянского артиста Бузонни! Чудеса и химеры человеческого и животного мира Суматры, Гонконга, Сахары и Риоде-Жанейро. Леденящее душу зрелище. Показывается в самые обычные дни и дает исключительные сборы. В программе: карликовый слон из Бомбея! Двухголовая змея Амазонии! Карапузы близнецы негры людоеды готтентоты! Птица смерти из дьявольских джунглей! Бородатая женщина из Франции — проверка бороды, за дополнительную плату! Африканская овца, имеющая оленьи рога, которые она ежегодно сбрасывает всем желающим и другие загадки века.

Господа зрители! Химеры внешне благопристойны, не оскорби-

тельны для образованного сословия, лиц духовного звания, женщин и детей.

Каждый вторник — большое кормление двухголовой змеи. При подходящей погоде за раз съедается до трех живых кроликов!

Афишка действовала безотказно.

Над заголовком был нарисован от руки негр, опутанный двухголовым удавом. Билеты шли нарасхват. Казалось, антрепризе обеспечен долгий и прочный аншлаг.

Даже искушенная столичная публика шла смотреть на крашенных йодом и жженой пробкой карликов «негров близнецов готтентотов».

«Еще год-два и домой, — думал Бузонни, — детям пора обзаводиться семьями».

Но времена внезапно изменились.

Если еще в 1916 году на рынках Петрограда, Москвы или Нижнего Новгорода к сборному шапиту итальянцев намертво приклеивалась вереница зевак, то на следующий год разом исчезли и очереди, и зеваки, да и сами рынки заметно поределели. Для Бузонни наступила полоса неудач. Сначала в Петрограде с ним разорвала ангажемент бородатая женщина, французская авантюристка мадам Иветта Жанно. Она влюбилась и варварски уничтожила, точнее, просто-напросто сбрила «физиологический феномен XX века», а затем собралась домой со своим избранником, матросом французского торгового судна. Но при этом не уплатила неустойку!., Правда, Бузонни с помощью племянника и сыновей сумел содрать с ее рук два золотых кольца, но разъяренная Иветта поклялась, что матросы-соотечественники во главе с женихом перестреляют все поганое семейство, и Умберто пришлось срочно бросать насильственный Петроград.

В Москве предприятие Умберто угодило в котел конкуренции. На эстрадах и в кафешантанах старой столицы, подальше от революционного Питера, выступали: профессора глубокой и непостижимой магии, короли комических фокусов, любимцы Мефистофеля, шулеры всех мастей, пожиратели огня и глотатели шпаг, факиры, настоящие «китайцы» братья Варнаковы — трио дюжих малороссов с пшеничными усами. Поражал наивную публику одноногий велосипедист Котке. На все лады зазывали к себе: укротительница тигров и ульмских догов Мария Лунская; сальтимбанк, то есть фокусник-канато-

ходец Драницын; японская придворная труппа императора братьев Симоненко...

Чем мог заманить в свой менажерий Бузонни, если даже на бенефис знаменитого иллюзиониста Пауля Рейнца в электротейатре «Модерн», который обещал в афишах «каскады драгоценностей и наводнение в партере», публика шла неохотно.

И все же Умберто удалось арендовать угол в увеселительном французском саду «Марс» у Виндавского вокзала и дать один-единственный показ антрепризы. На него вдруг обрушилась комиссия «Российского общества покровительности животным». Комиссия запретила выступления из-за отвратительного содержания зверей, обратилась к властям. Пришлось Бузонни срочно уезжать в провинцию, в Рязань.

В Рязани было только два конкурента: «живой труп» Каспарди и карточный фокусник Калачев. Последний выдавал себя за ученика великого немецкого претиджитатора, короля карт Гофцинзера, который, по легендам, знал пять тысяч карточных фокусов. Пьяница Калачев прогорал, зато варварский номер Каспарди имел успех. Помощники при стечении публики затыкали ему нос ватой, в горло запихивали большой тампон, вдобавок заклеивали липким пластырем рот, нос и глаза, голову обматывали бинтом, с помощью зевак укладывали Каспарди в деревянный ящик, опускали в могилу, засыпали землей. В могиле шарлатан Каспарди находился 14 минут, затем его быстро выкапывали, сдирали повязки и при всех откачивали эфиром. Оживший покойник лично обходил публику со шляпой в руках. Если журнал «Новости сезона» писал в 1914 году, рекламируя трюк Каспарди, что артиста кладут в стеклянный ящик, откуда выкачивают воздух, то в провинции летом 1918 года Каспарди дурачил простофилю в обыкновенном сосновом гробу.

Первые несколько дней менажерий Бузонни пользовался успехом, пока не стряслось очередное несчастье. Подвыпивший унтер-офицер разбил рукояткой револьвера стекло террариума и при публике пристрелил двухголовую змею — гвоздь программы. (При этом надо заметить, что двухголовые змеи — не выдумка. Например, случается, что самые обыкновенные ужи рождаются с двумя головами. В природе такие феномены не выживают, быстро гибнут, но в террариумах двуглавые монстры живут годами. Интересно еще и то, что головы таких га-



дов не чувствуют себя одним существом: когда одна голова хватается пищу, вторая, ожесточаясь, пытается вырвать добычу).

Застрелив двухголовую змеюку, унтер-офицер громкогласно заявил публике, намекая на царского орла, что всему двухглавому ныне пришел конец. Только тут Бузонни с опозданием понял, что революция в России касается всех, и его самого тоже.

А неудачи множились.

Здесь же, в Рязани, сдох от чумки орангутанг, а затем и старая «африканская овца с рогами оленя» (четырёхрогая южноазиатская антилопа). Жена и дочь в слезах потребовали от Умберто немедленного возвращения домой, во Флоренцию, откуда семейство уехало за фортуной семь лет назад, но Бузонни упорно не сдавался. Он еще не верил, что счастье изменило ему, любимцу российской публики. Как раз в эти злосчастные дни он сошелся с трансформатором и фокусником Павлом Баранцовым. Баранцов выступал с новой программой, он отказался от традиционного артистического фрака и выходил на сцену в сапогах и поддевке. Баранцов предложил долю в антрепризе: «Колониализм — враг мирового пролетариата!» Предполагалось, что негры-близнецы из труппы Бузонни будут символизировать угнетенную Африку, а гарпия с цилиндром на голове — президента САСШ (Северо-Американских Соединенных Штатов) Вудро Вильсона.

Они ударили по рукам, но через два дня Баранцов был внезапно арестован за участие в контрреволюционном заговоре и, по слухам, расстрелян. Бузонни пришлось снова бежать. Бежать без оглядки с жалкими остатками менажерия еще дальше на юг, пробираясь через гражданскую смуту в заветную Италию либо через Ялту, либо через Одессу, либо через Новороссийск... во всех случаях морем, как получится.

Зимние месяцы второго года революции Бузонни и его семейство провели в Липецке. Здесь не было ни одного конкурента, если не считать безымянного авантюриста, который водил по городу на цепи «дикого человека кавказских гор Хасана Когоева». Умберто удалось устроить несколько демонстраций своих монстров, но злой рок преследовал по пятам.

Ранней весной из труппы сбежали негры-близнецы людоеды-готтентоты братья-карапуты Иванковы (рост самого маленького аршин девять вершков, то есть чуть

выше метра). Их сманил на гастроли в столицу самостийной петлюровской Украины бродячий цирк румынских лилипутов. При побеге Иванковы прихватили с собой часть реквизита и банку с заспиртованным чертовым когтем.

Антреприза разваливалась на глазах.

Умберто нервно отбарабанил пальцами по томпаковому портсигару «марш фюнебр» — похоронный марш на смерть героя.

«Больше меня никому не надуть!» — решил он про себя.

Но еще южнее, в Воронеже, Бузонни ловко надул его же давний знакомец, коллега по ремеслу обжуливания ближних, иллюзионист-эксцентрик, «человек без костей», придворный артист турецкого султана Магомета Пятого некий Луи Каррель (украинец Леонтий Прокопенко). Он предложил, учитывая столь невыгодные времена, удар в лоб, надувательство ва-банк — показ русалки в бочке с водой!

«Говорящая наяда с острова Тринидада. Отвечает на все вопросы, курит папиросы, спит в лохани, можете убедиться сами».

Жулик Каррель познакомил Умберто с «русалкой» — девицей Настей Рузаевой, показал образец фальшивого русалочьего хвоста — искусно сшитый чехол телесного цвета, обшитый чешуйками перламутра. Наглость Карреля — Прокопенко, его собачий нюх на запросы местной публики плюс исполинские формы его сообщницы убедили Бузонни войти в долю, арендовать помещение, одолжить цветные лампы...

Они тоже сбежали, прихватив, кроме демонстрационной аппаратуры, столовое серебро, оставив в насмешку горе-напарнику матерчатый хвост, с которого Настя предусмотрительно спорола весь перламутр.

Бузонни разорвал дурацкий хвост на мелкие клочки. И растоптал его.

Он впервые в жизни впал в отчаянье.

«Неужели конец?» — подумал Умберто, не найдя больше папирос в своем томпаковом портсигаре.

В жилетном кармашке — сложенная вчетверо вырезка из петербургских «Ведомостей» 1913 года:

«Всем отчаявшимся предлагается повое радикальное средство от бессонницы и неудач г. Гюстафа Годафруа. Результат немедленный и длительный. Средство высылается по почте. Заказы адресуйте по адресу: Царскосельский проспект, 25. Петербург».

Некуда больше обращаться любимцу русской публики.

«Баста!» — решил Умберто. Семейство покатило к морю.

Но самое страшное оказалось впереди, когда под Рамонью подвода итальянцев попала в банду бывшего подхорунжего Власа Прыгунова. Здесь Бузонни впервые в жизни ткнули в висок пороховым рылом десятизарядного кольта, и он понял до конца, что такое русская гражданская война. Бандиты смеха ради застрелили двух мартышек, сожгли «карликового слона», Умберто уже стал молиться, но Влас Прыгунов пощадил перепуганное семейство. «Иди! Благословляй мать-богиню под черным знаменем — анархию!» В полку когда-то Влас прочитал брошюрку о Гарибальди и считал Италию нацией революционеров... Реквизировав бархатный занавес для знамени и на портянки, подхорунжий даже милостиво вернул антрепренеру телегу с жалкой каурой ключей, на которой торчала лишь клетка с уцелевшей гарпией. Бандиты отнеслись к жуткой птице с неожиданным почтением: они палили над ее головой, а тварь не вздрагивала от выстрелов.

Спасаясь, Бузонни свернул резко на запад к губернскому Энску, который был занят регулярными частями Добровольческой армии ВСЮР (верховный главнокомандующий — генерал-лейтенант Деникин).

Примерно в пятидесяти верстах от Энска проходила линия Южного фронта Советской Республики.

В Энке был железный порядок. Здесь Умберто прослезился над забытым в жизненных бурях словом «паштет» в меню ресторана при гостинице «Отдых Меркурия».

Казалось, вернулось старое доброе время: уютно гудело жаркое пламя в колонке у цинковой ванны, в номерах висели красивые картины с морскими видами; бронзовые немецкие часы с репетицией и пухленькими фарфоровыми амурами тикали тихо-тихо, отбивали час нежно-нежно; вечернее солнце освещало на стене олеографии с картин господина Кондратенко «Царицын павильон в лунном освещении» и господина Лагорио «Вход в Босфор» — яркий цвет нарисованного неба над морем напоминал голубизной небосвод родной Италии; на изящном ломберном столике лежала кем-то забытая книжка Лидии Чарской «Княжна Джаваха», которую можно было с грехом пополам почитать, полистать, по-



чувствовать аромат терпких духов незнакомки, чьи руки тоже когда-то листали эти страницы. Умберто не мог надышаться воздухом передышки. Встав с уютной оттоманки и подойдя к чистому окну, можно было увидеть внизу, у подъезда гостиницы, привычного извозчика на легковых дрожках с колесами в нервующихся английских шинах «опеншо»; рука сама собой тянулась к погребцу с бутылкой вина и аппаратом для газирования содовой воды; вино навевало какие-то неясные грезы, Бузонни клонило в сон.

Но тут оживал настенный телефонный аппарат «Эриксонъ» с коричневым деревянным щитком под орех: динь-длон-длинъ; Умберто со страхом поднимал воронкообразную эбонитовую трубку с никелированного рычага. В медно-рыжую сеточку микрофона пугливо выдыхалось вместе с вином: «Аллё». И ласковый голос гостиничной барышни снизу называл в ответ вечернее меню и просил заказать блюдо на ужин.

— Паштет, пожалуйста...

Казалось, можно перевести дыхание после бесконечного бега, собраться с мыслями, дремать в люстриновом халате, надев на усы прозрачные наусники, но на этот раз злой рок скрестил кривую стезю антрепренера Умберто Бузонни с прямой линией жизни начальника разведки армейского корпуса штабс-капитана Алексея Петровича Муравьева.

«...Будь он трижды проклят!»

Обо всем этом и думал Умберто, когда, запахнув широкие полы халата, открывал стеклянную дверь на балкон.

В левой руке Умберто держал оловянную миску с кусками вареного мяса. На балконе стояла пустая птичья клетка, валялись перья. Бузонни посмотрел в небо, нашарил взглядом черный шпиль обгоревшей пожарной каланчи, губы его прошептали:

— Цара, Цара...

Гарпия сразу увидела хозяина на балконе и рассмотрела три куса мяса в миске. Подпрыгнув над обугленным подоконником, где она обычно сидела в засаде, птица расправила крылья и полетела к гостинице.

Мальчишки уже стерегли ее возвращение.

— А ну пошли! — рывкнул швейцар, выходя из подъезда и тоже задирая голову вверх.

На балконе стоял постоялец из девятого номера, приземистый усатый итальянец, держал в левой руке миску и бросал сквозь прутья мясо на пол клетки.

— Кыш... — лениво бормотал швейцар мальчишкам.

Но вот по оконным стеклам пронеслась темная тень, громко хлопнули крылья и птица с маху вцепилась в деревянные балконные перильца.

Гарпия зло смотрела на Умберто.

«Если соколы, голуби, дятлы, козодои, — писал А. Брем в «Жизни птиц», — добродушные птицы, то долгошейные стервятники, орлы, ястребы, филины, сорокопуты, куры очень жестоки. Например, сорокопуты убивают и съедают даже себе подобных... Ручные попугаи убивают других комнатных птиц. Синицы выклевают мозг у маленьких птиц, которых сумеют одолеть.

Но самую жестокою из всех птиц может назваться большой американский хохлатый орел, который получил за это название Гарпии. Выражение ее фигуры и лица так поразительно свирепо, что даже человек не может не ощущать некоторого страха при взгляде на эту хищную птицу». Брем пишет со слов одного ученого натуралиста, что «...легкомысленные посетители Лондонского зоологического сада чувствовали боязнь при виде взрослого, привезенного из Бразилии хохлатого орла и забывали перед его клеткой все шалости, которые позволяли себе даже с тиграми. Сидящая прямо и неподвижно, как столб, птица приводила в смущение самых смелейших своим пристальным, грозным, сверкающим смелостью и скрытой злобой взглядом. Она казалась недоступной никакому страху и исполненной одинакового презрения ко всему окружающему, но представляла страшное зрелище, когда, выведенная из оцепенения видом впущенного к ней в клетку животного, вдруг переходила из совершенной неподвижности к сильнейшему возбуждению. С яростью бросалась она на жертву, и никогда борьба не длилась более нескольких мгновений, первый удар длинными когтями в затылок оглушал даже самую сильную добычу, а второй, распарывающий бока и вырывающий сердце, обыкновенно бывал смертелен. Никогда при этой казни клюв даже не употреблялся в дело, и быстрота, вместе с убеждением, что и человек не устоял бы против такого нападения, возбуждали в зрителях величайший ужас».

Бузонни распахнул дверь клетки и отскочил в сторону.

Гарпия прыгнула вниз, стуча когтями, прошла в клетку и стала клевать мясо.

Он купил гарпию семь лет назад в Триесте. Полуручная самка поразила Бузонни мертвящей жутью своего вида. Нюхом прожженного дельца Умберто сразу понял, что в его пестром менажerii гарпия займет достойное место. Его балагану на колесах не хватало привкуса смерти. Удав боа-констриктор, например, тоже смерть, но смерть неповоротливая, текуче-ленивая. От нее можно спастись, убежать. Коллекции Бузонни не хватало облика смерти вездесущей, крылатой. Он выложил за гарпию серьезные деньги и не прогадал. На «вестницу ада», на «деву тьмы» потянулись толпы простаков и зевак, любящих страх. От гарпии исходило магнетическое излучение чего-то ужасного, адского. Когда птица начала стареть, это впечатление только усилилось.

Умберто захлопнул железную дверцу и вернулся в номер, поспешно закрыл балкон, откуда тянуло падалью,

«Тварь», — коротко подумал он и стал накручивать ручку настенного телефона.

Дежурный телефонист на станции соединил его с абонентом 23, то есть с кабинетом начальника разведки армкорпуса Вооруженных сил Юга России.

Звякнула трубка, в ухо задышали.

— Господин штабс-капитан. — Бузонни сносно говорил по-русски.

— Я слушаю, Умберто, — глухо ответил Муравьев с недовольными интонациями в голосе.

— Цара вернулась.

— С добычей?

— Нет. Голодная очень.

— А если она пообедала и м на стороне? Сцапала и пообедала, Умберто? Что тогда? — спросил Алексей Петрович

— Нет. Я хорошо знаю Цару. Я всю жизнь был среди животных. Она — чистюля. И не будет обедать где попало. Птица обязательно прилетит с ним в дом. Сначала ощипывает, затем ам-ам. Кушает. Мимо ему не пролететь...

— Я это уже слышал, — перебил Муравьев.

— Ваше благородие, — взмолился итальянец, — моя голова уже раскалывается. Я не могу спать, она голод-



ная, всю ночь возится в клетке. Я стар для таких супле. Паола тоже не спит, господин штабс-капитан...

— Нет, Умберто, нет. Будешь терпеть до конца недели. Понятно?

Муравьев продолжил на смеси французского и русского:

— Она должна быть голодной. Вам ясно, Бузонни? Чтобы муха не пролетела. Повторяю: птица должна быть в отличной боевой форме. Способной действовать решительно, на голодный желудок. Вот так!

«Тварь!» — подумал Бузонни.

«Мошенник. Плут», — подумал штабс-капитан и сказал:

— Я думаю, что он прилетит завтра.

— Господин Муравьев, Цара очень дорогая птица. Ей нужно кушать положенное. Она кормит мою семью. В Москве Коссодо предлагал хорошие деньги. Зачем мне ваша война? Цару застрелят русские солдаты или она подохнет с голоду...

— Может, ты ее тайком кормишь, мерзавец? — вдруг крикнул штабс-капитан в трубку.

Тут в разговор вмешался телефонист:

— Ваше благородие, вас требует к телефону генерал.

Телефон в гостиничном номере щелкнул и замолк.

Умберто с досадой бросил трубку на рычаги. Он боялся и ненавидел Алексея Петровича Муравьева. Он не верил в успех его невероятной затеи. Еще вчера он мечтал бежать без оглядки из сумасшедшей России, еще сегодня утром он обдумывал, полеживая на диване, возможности для бегства из Энска, но... но одна случайная встреча около полудня круто изменила его ближайшие планы...

О, в этой встрече он видел большой золотой шанс. Большой шлем в карточном ералаше жизни! Шанс одним махом отыгаться за все неудачи последнего года и надежно обеспечить будущее...

Умберто подошел к окну и постучал беспокойно пальцами по стеклу. Гарпия вздрогнула и посмотрела на него из клетки ледяным взором. Умберто суеверно поежился. В ее круглых зрачках стояла вечная ночь.

Божья мать давно не глядит на Бузонни. Она отвернулась от него. Может быть, она сжалится там, во Флоренции, у алтаря родной церкви Санта Мария дель Кармине? Только тогда, когда он опустится на колени

в светлый круг от свечей, она с укором посмотрит ему в глаза и тихо благословит...

«Но где же в конце концов Ринальто?!»

Не успел Бузонни мысленно обругать своего растяпу племянника, как дверь номера без стука распахнулась. На пороге стоял запыхавшийся Ринальто, одетый в полуспортивный жакет и кремовые фланелевые брюки. Твердый накрахмаленный воротничок подпирал его вислые щеки, в руках он держал соломенную шляпу.

— Он арестован! — сказал Ринальто громким голосом на весь коридор.

— Тише ты, каналья! — зашипел Умберто, поспешно стягивая халат. — Где мой сюртук? А ботинки? Извозчика взял? Престо! Престо!

Между собой они порой говорили по-итальянски, порой по-русски, а чаще на адской смеси обоих языков с примесью испанской брани.

Тем временем штабс-капитан чуть сквозь зубы доложил командиру корпуса генералу Арчилову последние разведданные и получил в ответ очередную порцию ругани по адресу «нищертанезнающей разведки!».

Арчилов был явно в нерасположении духа.

«Россию погубит бездарность и глупость, — бесстрастно подумал капитан, закончив рапорт, — это наглядно видно сейчас, когда особенно важны: первое — холодный разум без примеси и помех грубых чувств; второе — вид с высоты на панораму пошлых событий жизни; третье — планомерная атака белой логики против красного хаоса».

За окном смеркалось.

Муравьев решил было включить настольную лампу, но передумал. Кабинет находился на первом этаже, окном на площадь, и он бы не желал привлечь внимание постороннего глаза ранним электрическим светом, хотя полумглы не выносил категорически, — ему предстояло выполнить одну деликатную операцию.

Открыв ключом секретный ящик письменного стола, Алексей Петрович машинально установил наличие всех тринадцати предметов, лежащих особо в этом неглубоком среднем ящичке, и осторожно достал из пенкового пенальца тонкую круглую палочку диаметром с вязальную спицу и расщепленную до половины своей длины. Это приспособление для перлюстрации, то есть тайного

вскрытия и просмотра писем без ведома адресата, было изобретено одним хитроумным цензором. Дело в том, что традиционный способ вскрытия конвертов нагретым бритвенным лезвием или раскаленной стальной проволокой, с помощью которых срезались восковые и сургучные печати, был ненадежен (по прочтении письма печать, разумеется, возвращалась на прежнее место), нагретые лезвия или проволоки часто повреждали белизну конверта, оставляя чуть заметные паленые следы. Внимательный адресат мог по ним установить факт перлюстрации.

«Волшебная палочка» отныне сделала вскрытие запечатанных конвертов и пакетов занятием для дилетантов. Взяв в руки плотный конверт, перехваченный сегодня утром у генерала Арчилова и адресованный некоему Николаю Гарду в Париж, Алексей Петрович осторожно ввел палочку в запечатанный конверт у самого верхнего угла, где находится небольшое отверстие, поймал расщепом вложенное внутрь письмо, медленно протолкнул устройство по диагонали конверта до противоположного угла, затем, быстро вращая палочку по часовой стрелке, намотал почтовую бумагу вокруг деревянной спицы и осторожным движением вытащил навернутое письмо из угла конверта через отверстие.

Расправил листок.

У генерала был прекрасный, почти каллиграфический почерк. Особенно удавались ему прописные буквы. Алексей Петрович невольно залюбовался, такие пустячки ему были дороги. И написано письмо было на гладкой бумаге типа «верже» с неясными водяными знаками, которые просвечивали, как морозные узоры на стеклах.

Местами письмо было написано на французском.

*«Любезный мой друг Никоша!*

*В ту самую минуту, когда я пишу эти слова, светит самое лучезарное мирное солнышко. Небу нет дела до нас. Оно похоже на брюхо свежей речной рыбы...»*

Взгляд Муравьева разочарованно скользнул через строчки.

*«...еще вчера мы играли с ним в вист, и вот те на».*

*«...насчет лечения кумысом ничего сказать не могу. Я сейчас исповедую только один медицинский метод — отворяю кровь. Adieu».*

В письме не было ничего компрометирующего генерала в глазах ставки, никаких кислых настроений, ни-



каких сомнений по поводу похода на Москву, и Алексей Петрович испытал чувство досады. Он не любил Арчилова. Тот отвечал тоже неприязнью.

Самое пустейшее письмо! И как только можно сочинять такие опусы? Да еще посылать их через полмира «его высокоблагородию Н. Гарду, ул. Грюнель, 32, Париж. Франция».

Теперь Алексею Петровичу предстояло вернуть прочитанный почтовый листок на законное место, в конверт. Но прежде штабс-капитан не удержался, чтоб не привести в порядок одну небрежность, допущенную генералом, а именно: отвинтив колпачок вечной ручки, он осторожно царапнул пером по бумаге, поставив недостающую запятую перед началом деепричастного оборота.

Превыше всего на свете Алексей Петрович Муравьев ценил порядок, строгую поступь логики, геометрию разумного. Он восхищался гениальной педантичностью немцев, разумеется, не признаваясь в этом. Его страстью была прямая — кратчайшая линия между двумя точками.

Например, из всех комнат бывшего благородного собрания, занятого сейчас контрразведкой и штабом, он выбрал для себя именно эту — небольшую залу с прямыми углами и строгим высоким окном. Он измерил периметр комнаты шагами и остался доволен получившейся круглой суммой в сто шагов. Вид из окна ему тоже пришелся по душе — пустая площадь, обрамленная симметричными домами с обязательными мезонинами, все в два этажа.

Он распорядился вынести вон всю неприятную гнутую криволинейную мебель и снять поясной портрет отрекшегося в вагоне на станции Псков бездарного государя императора Николая Александровича Романова. У окна был поставлен лишь один письменный стол, на сукне которого Муравьев терпел присутствие только трех вещей: телефона, рабочей лампы в виде глобуса и письменного прибора с подсвечниками без свечей, с пресс-папье, затянутым в мундир промокашки, с ножиком для разрезания бумаги, двумя пустыми чернильницами с серебряными шлемиками крышечек и спичницей.

Итак, намотав глупейшее безобидное послание обратно на деревянную спицу, Муравьев уже более небрежно, чем прежде, протолкнул ее назад в конверт, размотал лист движением руки против часовой стрел-

ки и, выдернув палочку, разгладил конверт рукой. Не очень тщательно разгладил. Снова открыл средний ящик и положил приспособление в пенковый пенал. В среднем ящике стола, в коробке из-под бутылки русской минеральной столовой воды «Кувака» лежал новенький револьвер системы «смит и вессон». Там же, в ящике стола, находилась солдатская памятка о немецких зверствах — издание Суворина; в памятку был вложен согнутый вчетверо плакат «Братание союзников» времен семнадцатого года. На плакате, на фоне американской статуи Свободы, были изображены в момент рукопожатия русский солдат с пышными пшеничными усами и тощий джентльмен с козлиной бородкой в полосатых штанах и в цилиндре. Внизу надпись: «Товарищи-демократы Иван и дядя Сэм»; тут же в ящике находились сломанные серебряные часы швейцарской фирмы «Мозер» с тремя откидными крышками на 15 камнях; карманный письменный прибор-непроливайка, два любимых карандаша с золотым тиснением «Иоганн Фабер № 2» и, наконец, коробка с детской игрой для вырезывания и скрепления под названием «Русское войско и его враги — турки, германцы, австро-венгры», всего около 200 картонных фигурок.

Эта игра была его тайной слабостью.

Алексей Петрович сначала поставил коробку с картонными воинами на письменный стол. Затем встал, закрыл дверь кабинета на ключ. Дело в том, что бумажные фигурки помогали ему размышлять наглядно и логично, но со стороны это выглядело по меньшей мере странно, и штабс-капитану не хотелось, чтобы кто-либо из его подчиненных застал его вдруг за столь легкомысленным занятием, как игра в солдатики. Вернувшись к столу и закулив, Муравьев принялся методично составлять на сукне картонных человечков, пеструю плоскую армию.

Первым на пустом настольном поле боя появилась фигурка генерала русской армии в белом парадном мундире. Этой картонкой Алексей Петрович обозначил Верховного главнокомандующего ВСЮР генерал-лейтенанта Деникина.

Что говорить, приятно было взять «его высокопревосходительство» за голову и поставить на место. Приятно было испытать этакое насмешливое чувство всесильности своих прихотей. Свой логический идеал Муравьев втайне считал ключом к мировой гармонии и сейчас ре-

петиrowал будущее. Рука поставила генерала на край стола, один щелчок — и главоверх летит в пропасть.

Картонной рукой, склеенной из двух половинок, генерал самоуверенно тыкал на север письменного стола, в сторону красноармейской столицы.

В своем обращении к армии и Европе «О целях Вооруженных сил в Южной России» Деникин планировал скорый захват Москвы и установление старой власти. Даже был намечен примерный срок — победа к зиме, в крайнем случае к весне. Среди нижних чинов ходил на-смешливый лозунг: «Подарим красное московское яичко солдату к пасхе!» Если вдуматься, в лозунге не было ни особой веры в успех наступления, ни упования на божью силу.

Муравьев задумчиво расставил вокруг картонного генерала еще несколько шатких фигурок. Расставил в шахматном порядке. В эту божественную силу — порядок — Алексей Петрович верил почти истово. Именно этой силе он был согласен подчиниться сам и подчинить других.

В задачу штабс-капитана в прифронтовом Энке, кроме армейской разведки, входило обеспечение строжайшего — вплоть до расстрела на месте — военного порядка, истребление вероятной большевистской агентуры и бдительный надзор над пролетариями двух оружейных заводов «Жиранди» и «Лесснера». Задача нелегкая, и Муравьев прекрасно понимал, что только казачьими патрулями в заводских цехах и на городских улицах ее не решить. Штабс-капитан мечтал о своей агентуре, и уже на второй день после освобождения города из «лап Совдепии» принялся искать уцелевших жандармов. Вдруг? Чем черт не шутит? Только через них он мог бы выйти на секретную агентуру времен недавней монархии, на осведомителей из мира уголовников, на местных агентов в рабочей среде.

Итак, первым делом контрразведчик приехал к особняку бывшей жандармерии на Знаменском бульваре. Сожженные архивы... взломанные сейфы... спиленные решетки... визг битого стекла под ногами... Чудом удалось найти давно вышедшего в отставку начальника секретной канцелярии, трусливого старикашку холостяка. Вот он-то и стал поистине неоценимой находкой штабс-капитана.



В нижнем ящике комода, под стопкой белья, отставной жандарм хранил на всякий случай собственноручную копию секретной агентуры 1908—1914 годов. Когда он передавал Муравьеву листки, исписанные дурным почерком, у обоих тряслись руки.

Списки проверили — в городе нашлось всего два агента: вульгарный осведомитель Сонька, который работал прежде в притонах на городской окраине, и второй — особенно ценный сотрудник — эсер по убеждениям, агент по кличке Лиловый. Благодаря ему еще до мировой войны удалось, например, накрыть подпольную типографию эсдеков.

Два агента!

Муравьев считал эту скромную цифру невероятной удачей. Если в мирное время агент, по существу, есть не что иное; как замена военных действий, то в условиях военных действий агент-разведчик — самое смертоносное и губительное оружие.

После встречи с отставным жандармом Алексей Петрович внес в свой блокнот две буквы — С и Л — заглавные литеры агентурных кличек Соньки и Лилового. Последнюю букву он обвел аккуратным кружочком и поставил рядом восклицательный знак.

Лиловый был доставлен на допрос к Муравьеву ночью. Его вид не понравился штабс-капитану: он был не из пугливых, и, несмотря на смертельную бледность, глядел упрямо, даже дерзко. У него была тяжелая круглая голова, невыразительное лицо простолюдина, и только на самом донышке глаз нет-нет да и мелькали отчаянные искорки. Муравьеву требовалось как можно быстрее раскусить этого человека, подчинить себе его волю. Он начал с того, что демонстративно убрал в стол свой именной револьвер, предложил агенту глоток вина. Тот от вина отказался, но попросил стакан воды, и когда стал пить, штабс-капитан заметил, что Лиловый постукивает зубами о край стакана. Он был все же напуган, хотя умело скрыл свой страх. Черты его лица при более пристальном разглядывании говорили о характере сильном и скрытном, об уме, склонном к авантюрам.

Впрочем, штабс-капитан никогда не настаивал на верности первого впечатления, хотя ошибался редко. Работа с агентурой была его любимым коньком. Он сделал блестящую карьеру в разведотделе 11-й армии в Восточной Галиции как раз на виртуозных разведывательных акциях среди гражданского населения. Его даже прочи-

ли на некий ответственный пост при главном управлении генштаба. Но две революции семнадцатого года перечеркнули карьеру штабс-капитана. Ветер перемен два года носил Муравьева по российским волнам, пока не прибил к заветному письменному столу, обтянутому сукном, где Алексей Петрович вновь почувствовал себя в знакомой стихии логики и торжества разума над роком эпохи.

Переждав, пока доставленный агент до конца осознает свое безвыходное положение, штабс-капитан обратился к нему хорошо отработанным тоном, насмешливо упомянул его прежнюю кличку и пригрозил «господину Лиловому» сиюминутным расстрелом за отказ от дальнейшего сотрудничества.

Эти угрозы оказались лишними.

Лиловый уже все решил про себя и спокойно, даже немного рисуясь, как показалось Муравьеву, выложил все, что знал о тайной жизни прифронтового Энска.

То, что тот сообщил, весьма изумило Алексея Петровича, но он, конечно, не показал виду. Только быстрее обычного вертел в пальцах свой любимый карандашик «Иоганн Фабер № 2». Вертел до тех пор, пока не заметил, как агент чуть ли не с насмешкой покосился на его нервные пальцы.

Итак, оказалось, что в занятом белыми частями Энска действует ни много ни мало как подпольный штаб большевиков и что Лиловый... возглавляет одну из боевых групп.

«Вот так удача! Поистине зверь бежит на ловца...»  
Муравьев не верил своим ушам.

Встав из-за стола, он прошелся в волнении по кабинету. Затем быстро из-за спины глубоко заглянул в глаза агенту. Взгляд Алексея Петровича Лиловый выдержал. Нет, он не врал. Ему доставляло удовольствие наблюдать за ошарашенным офицером контрразведки, но он не врал. Что ж, поведение этого двурушника казалось Муравьеву вполне понятным: прежний агент, боясь расплаты и надеясь, что его кличка навсегда утонула в пучине перемен, делал в Совдепии свою совдепскую карьеру.

Именно в личине старого подпольщика он попал в новое подполье. Конечно, в этом был риск, но и логика выживания тоже. А в том, что судьба сыграла с Лиловым злую шутку, был виноват прежде всего Алексей Петрович, который отыскал иголку в стоге сена.

Алексею Петровичу нравилось быть чем-то вроде судьбы для других.

По словам агента, во главе подпольного штаба стоял опытный конспиратор, обрусевший латыш, большевик по кличке Учитель. Вся подпольная организация была в конспиративных целях разбита на боевые пятерки. Некоторые из руководителей этих пятерок были членами ревштаба. Он предполагал, что таких групп пятьдесят. Значит, красное подполье в Энске насчитывало...

«Ого, пятьдесят человек... ну, это уже слишком, господа мерзавцы!»

Муравьев ядовито комментировал каждое его слово.

Так вот, ни одного из членов ревштаба, кроме Учителя, Лиловый не знал, только слышал об их существовании.

Он предложил немедленно выдать новому начальнику и Учителя, и всю свою боевую пятерку, но шести человек Муравьеву было явно недостаточно, требовалось обезвредить всех поголовно.

Кроме того, в рассказе Лилового штабс-капитана поразило еще одно обстоятельство — подполье готовилось к вооруженному выступлению в момент атаки красных частей на город и что атака эта близка.

Но до линии фронта было верст пятьдесят, белые части уверенно наступали, никакими сведениями о близком контрнаступлении противника белогвардейская разведка не располагала...

Было от чего прийти в минутную растерянность.

Лиловый ссылался на недавние слова Учителя о том, что вот-вот должен быть получен сигнал от наступающих частей.

Муравьев засыпал агента вопросами: по какому сигналу? Где, когда, как? Каким образом налажена связь подпольщиков через линию фронта с частями противника?

Ответов ни на один из этих вопросов Лиловый не знал. Штабс-капитану пришлось даже прибегнуть к грубому приему. Он достал из ящика стола припрятанный револьвер с именной надписью — дедикасой «Алексашке, другу юности, — князь Львов-Трубецкой» — и постучать дулом в лоб упрямца.

Лоб Лилового покрылся каплями пота, он замолчал, не собираясь ничего доказывать или молить о пощаде, только быстро перекрестил лицо. Муравьев и так



почти знал, что тот ничего не утаил, но этот последний штрих убедил его окончательно — перед ним был человек не робкого десятка и в рискованной агентурной игре на него можно было положиться.

Штабс-капитан снова бросил револьвер в ящик стола.

Тогда Лиловый с насмешечкой вытер пот и попросил вина, от которого раньше отказался. Муравьев налил, но сначала поставил агенту две основные задачи. Первая: узнать, оставаясь необнаруженным, все планы ревштаба, касающиеся предстоящей вооруженной акции. Вторая: выяснить, каким образом подполье узнает об атаке частей противника.

За выполнение данных задач предусматривалось две меры в зависимости от результата — наказание и поощрение. Поощрение — оставление жизни.

Алексей Петрович протянул стакан с вином и крикнул в приоткрытую дверь часового.

Агента поспешно отвезли домой, в постель, а штабс-капитану пришлось коротать остаток ночи на трех поставленных рядом стульях.

А уже через пару недель тайна № 2 стала штабс-капитану известна.

...Телефонный звонок прервал размышления Алексея Петровича над письменным столом, уставленным картонными человечками из заветной коробки.

— Говорите.

Алексей Петрович не любил юркое французское «алле».

— Докладывает подпоручик Ухач-Огорович, господин штабс-капитан...

Ухач-Огорович при штабс-капитане был чем-то вроде военного полицмейстера прежнего царского образца и отвечал за гражданский порядок в черте города.

Сухим канцелярским тоном, который особо ценил в своих подчиненных Муравьев, поручик доложил о пресечении попытки застрелить птицу гарпию местным мешанином Баторским.

— Что? Говорите толком!

Штабс-капитан не мог ничего понять из рапорта.

За окном стемнело. На столе давно включена настольная лампа в виде стеклянного глобуса под абажуром. Гарпия согласно сообщению антрепренера Бузон-

ни уже находилась в клетке... каким образом с птицей могло случиться то, о чем сейчас сообщил Ухач-Огороднич?

— Ты что, пьян?

Оказалось, что трезв, а само происшествие случилось еще днем, около полудня.

— Почему сразу не доложил? — обрушился на подпоручика штабс-капитан, объявил трое суток ареста и потребовал полный доклад по форме.

Оказалось, что днем с чердака дома купца Рыбникова на Первониколаевской улице по птице гарпии были произведены три выстрела мещанином Маркелом Баторским из винтовки системы «гра». Птица при нападении не пострадала, а лишь круто набрала высоту: мещанин промахнулся... Только вечером, пояснил в свое оправдание подпоручик, при допросе с пристрастием Баторский показал, что имел намерение подстрелить птицу — сначала этот умысел им отрицался. Свою злонамеренную стрельбу в центре прифронтного города Баторский объяснил следствием беспробудного пьянства.

— За хранение оружия мещанина строго наказать, — отдал распоряжение Муравьев, — отличившегося при поимке и задержании злоумышленника унтер-офицера Бородавко отблагодарить перед строем... Что еще?

— Сегодня на загородных дачах обнаружена еще одна голубятня, — доложил Ухач-Огороднич, — владелец — инвалид Крымской войны грек Христодопулос. На голубятне имелось 12 спрятанных птиц. Этот грек божился, что не читал приказа о голубятнях. На всякий случай мы его задержали... Все голуби уничтожены при моем личном присутствии, ваше благородие. При обыске опять отличился унтер-офицер Бородавко.

— Бородавко повесить на один чин; подготовьте приказ, и, смотри у меня, ты отвечаешь за каждого голубя головой и погонами. Ясно? В небе только одна птица! Моя! Во время полета обеспечить полную безопасность...

— Есть. Сегодня патрулем уничтожены еще две голубятни. Одна на Боголюбской улице, другая во дворе за Каланчевскими складами. Правда, обе пустые. Согласно вашему приказу за каждого предъявленного голубя выдается по двадцать граммов спирта...

Взору штабс-капитана представилась некая идеально

ровная местность, освобожденная от всяких подозрительных признаков.

— Повесить норму до пятидесяти граммов, но не больше стакана в одни руки.

— Есть до стакана, господин штабс-капитан!

Алексей Петрович в привычном раздражении бросил трубку на аппарат. Страстью штабс-капитана была чистая логика, таинство допросов, стратегия разведопераций, а не грубая проза полицейских облав, обысков, засад. Он достал серебряный портсигар с двуглавым царским орлом, вытащил из-за резиночки длинную папироску французского образца «ами». Выкурил. Развернул мягкую станиолевую обертку, бросил в рот перепермент — мятную лепешку для уничтожения запаха. Встал и вышел в коридор.

Его проход по коридору был отмечен звучным шелканьем каблучков часового Острика у дверей кабинета и притихшей болтовней штабных машинисток: дверь в телефонную комнату была приоткрыта. По мраморной лестнице, устланной потертой ковровой дорожкой, штабс-капитан поднялся на второй этаж в комнату шифровальщика.

За окнами проступили густые очертания августовской ночи. Коридор был залит слабым, трепетным светом электрических люстр; лампочки словно поеживались от темноты за огромными стеклами. Шел десятый час вечера, но штабс-капитан работал по-военному, до полуночи, подавая пример штатским служащим.

Поручик-связист немецкого происхождения Генрих Лилиенталь доложил Муравьеву о всех полученных за день шифрованных донесениях. День выдался обильный: три шифровки, два симпатических письма, четыре телеграфных сообщения и донесения авиаразведоты.

Из доклада шифровальщика Лилиенталья внимание Алексея Петровича сразу привлекло сообщение о передвижении в районе станции Черная двух красноармейских эскадронов, сопровождавших один броневой автомобиль и штабную легковую машину. Столь мощное охранение говорило о том, что в машине, по-видимому, находился крупный красный командир и что, по всей видимости, на этом участке красные готовились нанести контрудар, хотя никаких данных о скоплении частей противника в этом районе от авиаразведки не поступало.

— Где донесение?

Поручик протянул Муравьеву большой грязный, за-



саленный лист. В середине листа для отвода глаз была прожжена внушительная дыра неправильных очертаний. Тайная запись лимонно-формалиновыми чернилами шла через сальные пятна до края прожженного отверстия и продолжалась с другой стороны до обреза бумаги.

— В бумагу были завернуты сапоги, — пояснил Ли-лиенталь, — которые доставил на явочный адрес один беженец. Разумеется, он ни о чем не подозревал.

— Похвальная предосторожность, — отметил Алексей Петрович.

...Связные чаще всего становятся причиной провала операции. Поэтому для связи часто используются лица посторонние, никак не подозревающие о тайной стороне своей миссии. Так, разведчик может попросить ничего не подозревающего путешественника передать адресату, например, мыло, зубную пасту, жилет, рубашку, брюки, пару носков. В любой из этих вещей можно скрыть донесение, кроме того, в виде мыла или зубной пасты в начале первой мировой войны изготавливались симпатические чернила. Этими же самыми чернилами пропитывались принадлежности туалета. Стоило только агенту прокипятить тот же жилет, рубашку или носки, как он становился обладателем достаточного количества симпатических чернил, без которых работа агента слишком опасна.

Самое наилучшее, считал Муравьев, это постараться обеспечить невозможность связного повлиять на содержание передаваемой информации, в том числе если даже он знает о характере собственной миссии. Его всегда восхищала, например, дьявольская хитрость греческого тирана Милета, который, задумав восстание против персидского царя Дария, весьма остроумным способом обратился к своему дальнему сообщнику ионийцу Аристагору. Он написал свое сообщение на голове обритого раба. Когда волосы отросли, раб легко прошел через кордоны бдительных персов к Аристагору, который и прочитал послание Милета, обрив голову покорного связного.

— А что дала авиаразведка? — спросил Алексей Петрович.

— Донесения малоинтересны, — ответил поручик Ли-лиенталь, — под Рамонью степной пожар. На дороге в Гай обнаружен брошенный грузовой автомобиль

34-го пехотного полка, в наступлении вся солдатня — пьяная, загнали грузовик в кювет.

— Наши атаки выдержаны на спирту, Генрих, — усмехнулся Муравьев, обращаясь вдруг к поручику без обычной субординации, по имени.

Помолчал и добавил:

— Если б мы отступали, было бы, увы, то же самое... А что слышно о сигналах с земли для авиации противника?

Поручик Лилиенталь незаметно усмехнулся, этот вопрос задавался чаще других.

— Ничего. Наш камуфляжный полет с красными звездами не был успешным...

Алексей Петрович был особенно придирчив в безуспешных поисках подозрительных сигналов с земли. На него когда-то неизгладимо подействовал известный пример о двух немках-разведчицах, матери и дочке, живших несколько лет в важном стратегическом пункте недалеко от живописного Амьена. Эти женщины вели уединенный образ жизни, и офицер контрразведки, наблюдавший время от времени за ними, не замечал никаких подозрительных признаков, пока не обратил внимание на такую деталь: немки очень часто стирали белье и развешивали его на веревках во дворе. Французский офицер никак не мог согласиться с тем, что два человека могли испачкать столько наволочек, простыней, лифчиков, ночных рубашек, платьев, юбок... Кроме того, вещи часто сушились в плохую погоду и причем все они были яркой расцветки, хорошо заметной издали. Единственное объяснение — считать белье на веревках особым методом сигнализации немецким летчикам. Вскоре подозрения сменились уверенностью: контрразведчик заметил, что, пролетая в сторону французских укреплений, вражеские летчики снижали самолеты над подозрительным двором, где яркие пятна выстиранных вещей сигнализировали о местонахождении скрытых целей. Обе женщины были арестованы. Их метод оказался прост: юбка означала артиллерийскую батарею, платье — скопление боевой техники, лифчики указывали на передвижение пехоты и т. д.

От шифровальщика штабс-капитан спустился в подвальное помещение контрразведки, где находились наспех переделанные из комнат камеры для заключенных и караул.

— Как наш комиссар? — спросил он у прапорщика Субботина, начальника караула.

— Бабкин! — крикнул прапорщик в коридор. На крик явился часовой, которому Субботин и повторил вопрос штабс-капитана.

— Спят, кажись, ваше благородие. Как нужду справил, так лег на стол и лежит.

— На какой стол?

— Так мы его в бильярдную определили, — вмешался прапорщик, — все остальные камеры без глазка, а тут сделали. Разбудить собаку?

— Пусть валяется... Ступай, ступай.

Часовой приложил руку к козырьку фуражки и вышел.

— Допрашивать ночью будете? — спросил Субботин. Он и без того знал привычки Муравьева проводить ночные допросы, но ему было скучно, и прапорщику хотелось поболтать с Алексеем Петровичем хотя бы и об арестованном вчера большевике.

Но штабс-капитан был к беседе не расположен и, заметив начальнику караула насчет плохо нашитого шеврона на рукаве, вышел вслед за часовым.

В коридоре Муравьеву захотелось поглядеть в глазок на арестанта, постараться понять его настроение перед долгим допросом, недаром штабс-капитан томил его уже целые сутки в полной безвестности, зная, что неизвестное мучительно, как жажда, он даже сделал было шаг по направлению к камерам, но передумал. Ему не хотелось заниматься подглядыванием при часовом: нижние чины, по глубокому убеждению Алексея Петровича, не должны подозревать в начальстве никаких чувств, кроме служебных.

С этой мыслью он вернулся в кабинет.

Вид расставленных бумажных фигурок на письменном столе показался ему смешным, и он пошвырял в коробку все бумажное воинство во главе с картонным генералом.

Закурив любимую папироску, штабс-капитан включил настольную лампу, выключил верхний свет: полумрак всегда помогал ему сосредоточиться. Вернулся к столу. Извлек листочек, на котором только ему понятным способом — стрелками, кружочками, заглавными буквами был — обозначен ход задуманной им операции.

Снова и снова штабс-капитан вспоминал события, которые развернулись после его первой ночной встречи



с Лиловым, придирчиво проверял верность собственных ходов и ответную реакцию противника.

Вот как это было...

Итак, убедившись на том памятном допросе, что Лилловый, хотя и возглавлял «какую-то опереточную шайку», все-таки был практически мало посвящен в планы ревштаба (Учитель, руководивший подпольем, был, видимо, опытным конспиратором), Муравьев в первую очередь занялся карьерой своего внезапного агента. Нужно было во что бы то ни стало выделить Лилового из группы рядовых подпольщиков, сделать так, чтобы он стал членом штаба.

То, что его агент у заговорщиков был не на первых ролях, Муравьева решительно не устраивало.

Несколько раз Алексей Петрович даже подумывал над тем, как бы поставить во главе всех подпольщиков своего Лилового, но быстро оставлял столь пустые мечтания.

Операция началась с того, что ради подпольной карьеры своего протеже Алексею Петровичу пришлось пожертвовать частью военного снаряжения одного из складов корпуса.

Это был первый ход Муравьева.

Через несколько дней после ночной встречи со своим новым хозяином Лилловый сообщил командиру подполья Учителю день и час выезда из города небольшого обоза из трех подвод с плохой охраной, везущего в один из прифронтовых полков оружие, медикаменты и обмундирование. Это было важным сообщением для комиссара: подпольщики остро нуждались в оружии.

«Подарки большевикам» штабс-капитан отбирал лично, а в охрану обоза включил трех ненадежных казак, взятых в дело прямо с гауптвахты.

Подпольщики решили рискнуть, и на перехват обоза были брошены две боевые «пятерки». Нападение удалось, были захвачены: сломанный пулемет «гочкис» (ломки серьезные), в кустарных условиях, пожалуй, не починить), ленты для люисовского пулемета (по сведениям агента, пулеметов такой системы у большевиков нет), пироксилиновые шашки новенькие (риск, конечно, господа, риск!), несколько одноствольных ружей системы «бердана», три ящика с револьверными патронами разных калибров... Солдатское обмундирование — как

и предполагал Муравьев — подпольщики не взяли, в перестрелке был убит один казак.

В нападении особенно отличился Лиловый. Он первым бросился из засады на городской окраине к верховому казаку и перегородил дорогу. Лошадь шарахнулась. Однако казак сумел не вылететь из седла, и, разрывая лошадиную пасть мундштуком, осадил коня. Тогда Лиловый схватил лошадь за удила. Опешивший было казак тем временем выхватил из-за пазухи револьвер и стал стрелять прямо в голову нападавшего безумца, но случилось невероятное: казак, бледнея с каждым нажатием курка, безуспешно щелкал револьвером, дуло молчало, а Лиловый стоял намертво, обливаясь потом, глядя в лицо убийце безумно выпученными глазами и только испуганно вздрагивая после каждого сухого щелчка.

Эта сценка особенно восхищала автора, Алексей Петрович находил ее совершенно в духе своего замысла: истину знал только он, а статисты исполняли свои роли всерьез.

Так вот, эта сумасшедшая стрельба в голову продолжалась, наверное, целую минуту, прежде чем метким выстрелом одного из нападавших казак не был убит и упал.

Лиловый оцепенело стоял еще некоторое время над рухнувшим телом, мелко-мелко крестясь.

«А что, если он хотел быть убитым?» — думал потом о его поступке Муравьев, ведь не мог же Лиловый знать, что револьвер дурного казака был испорчен.

После нападения на обоз замысел штабс-капитана заметно приблизился к цели: Лиловый стал получать от красного комиссара все более ответственные задания. Однажды он потребовал у Муравьева шрифт, типографскую краску, печатные валики для подполья.

«Доставай-ка, Алексей Петрович, каштаны из огня на нужды социалистической революции!»

Штабс-капитан задумался — игра пошла не по правилам — и все же рискнул. Лиловый «достал» типографский шрифт и краску для прокламаций. И вот вскоре после этого Лиловый вошел в состав ревштаба, и Алексей Петрович наконец-то узнал то, что особенно мучило его по ночам, то, что ни на минуту не выходило из головы, а именно: способ связи через линию фронта, тайну сигнала, по которому подпольная боевая дружина должна была выступить с оружием в руках в день икс,

то есть в момент внезапного удара красной конницы по Энску.

Тайна оказалась проста — сигналом к восстанию станет прилет почтового голубя из-за линии фронта с приказом атакующей части.

От мысли, что ему еще предстоит воевать с почтовой пичугой, Муравьеву стало нехорошо. Птицы, крылья, перья, полеты... все это было так далеко от его привычной логической стихии. Как быть? Ведь столь малую песчинку не поймать никакими силами, нельзя же, в конце концов, расставить посреди туч надежных часовых, отдать маломальский приказ. Одним словом, вместо мыслей в голове выходила сплошная ерунда.

...В дверь кабинета постучали.

Алексей Петрович оборвал нить своих размышлений и недовольным голосом крикнул:

— Входи!

Вошел унтер-офицер по особым поручениям Пятенко.

— Господин штабс-капитан, гражданин Галецкий по вашему приказанию арестован. Документов, оружия никак нет. Бумаги разные взяты. При обыске матерился и свою вину отрицал.

— А-а, Галецкий, — зевнул Алексей Петрович; была у него такая манера внешней незаинтересованности, — давай-ка бумаги.

— Денег тоже не обнаружено. Но хам, осмелюсь доложить, хам.

Пятенко положил на стол кучу взлохмаченных бумаг. Муравьев стал внимательно просматривать стопку. На первый взгляд ничего особенного:

заграничный паспорт с давно просроченным сроком годности;

кадетский (КД — конституционалисты-демократы) журнал «Народоправство» от 1917 года;

старый проездной железнодорожный билет с отклеенной фотографической карточкой;

несколько устаревших контрактов на выступление в петербургском театре «Модерн», суммы внушительные;

выданная из журнала «Нива» репродукция картины «Святой Прохор проливает слезы радости по случаю чудесного спасения и исцеления от смерти св. Иоанна Богослова». На нимбе святого карандашом неприличное словечко.



И прочее, и прочее...

А вот мелькнула фотокарточка, снятая в одесском фотоателье. На карточке холеное лицо господина Галецкого. Под горбатым носом щегольски закрученные усики а-ля Мефистофель. На вид ему лет 45—50... отечные мешки под глазами. Внешность самая неопределенная, то ли провинциальный актер-любовник на первые роли, то ли авантюрист в стиле маркиза де Сада... Но все же было в его лице что-то примечательное, какая-то смесь злого, язвительного ума и аристократической невозмутимости.

— Ну и рожа! — заметил Алексей Петрович, отстраняя фотографию в сторону.

— самого гнусного вида, — согласился Пятенко, сдержанно пованивая водочным перегаром, — субъект, осмелюсь доложить, самый скользкий. При обыске вел себя исключительно дерзко. Хамил-с! Отзывался о нас просто по-свински; если бы не ваш приказ «соблюсти приличия», мы б его сапогами... А силен, черт! Наручники еле надели!

Алексей Петрович молчал, его внимание привлекла открытка из Швейцарии с видом на ровнехонькое Баденское озеро.

— Подозрительная открыточка, — сказал Пятенко, заглядывая сбоку в лицо Муравьева.

Тот осторожно надорвал ее до половины, внимательно рассмотрел разрыв. Пятенко навис сбоку еще тяжелей, поместив справа плечо с унтер-офицерским погоном в белых нашивках.

Ногтем Алексей Петрович расслоил открыточку надвое. Иногда вот такие открытки используются для секретных сношений, их склеивают под большим давлением: с одной стороны адрес, с другой условленный вид или пейзаж, а между ними тончайший листок бумаги с картой позиций или шифровальным донесением.

— Хочешь в Швейцарию, а, Пятенко? — пошутил Муравьев.

— Не, мне наши дивчины больше нравятся, — вздохнул Пятенко.

Штабс-капитан отложил в сторону невинную карточку и продолжил тщательное изучение бумаг, пока не наткнулся на обрывок весьма странного текста:

«Когда Таня входит в полутемный кабинет Инсарова, тот стоит белый как мел, с распечатанным конвертом в руках. «Что там?!» —

кричит Таня. В ответ Инсаров протягивает ей конверт: там только одно слово: «смерть». Таня как подкошенная падает на пол. По условиям американской дуэли, тот, кто вынет из конверта записку «смерть», должен покончить с собой. Когда Таня приходит в себя, между ней и Инсаровым происходит страстная сцена. Инсаров рассказывает Тане историю своей страшной дуэли с Жадовым, а затем прощается с ней навсегда. Потрясенная Таня умоляет его бежать, и когда Инсаров гордо отклоняет это предложение, решает умереть вместе с ним. Инсаров со слезами на глазах пишет оправдательную записку, а затем начинает гипнотизировать Таню, властно приказывая ей: «Засни! Ты проснешься ровно через три минуты. Приказываю тебе, женщина! Приди в кабинет, возьми с моего стола револьвер, прижми его к моему сердцу, которое любит только одну тебя. Нажми курок и забудь все, что ты сделала! Продолжай жить!..» Таня, несмотря на свое отчаянное сопротивление, не в силах побороть эту необычайную силу чужой воли. Она засыпает ровно на три минуты, а проснувшись, идет с закрытыми глазами в кабинет. Там она видит Инсарова, который стоит у окна к ней спиной и ждет выстрела. Таня твердой рукой берет пистолет и, подойдя к Инсарову, стреляет ему в сердце. Только при звуке выстрела она выходит из состояния гипноза и видит, что перед ней на полу огромного пустого зала, в котором она никогда раньше не бывала, лежит, раскинув руки, не Инсаров, а...

На этом месте странный текст обрывался.

Только повертев в руках обрывок, Алексей Петрович разглядел, что перед ним отрывок из либретто, выпущенного русской кинофирмой Дранкова для рекламы своей любовной чепухи у кинопрокатчиков.

Тьфу!

Муравьев отложил с некоторой безразличностью рассказ о трагедии Тани, обманутой жестоким проходившем Инсаровым, и продолжил осмотр бумаг арестованного.

Письмо к господину Галецкому от президента международного союза иллюзионистов Вилли Гольдстона; афишка о гастролях клишника, «короля цепей» Гарри Гудини в Москве в 1903 году, с дарственной надписью;

общероссийский журнал «Вестник трезвости»;  
а вот:

#### «УДОСТОВЕРЕНИЕ ОДЕССКОЙ ПОЛИЦИИ.

Дано сие петербургскому артисту Галецкому Юрию Николаевичу, православного вероисповедания, в том, что 2 января 1908 года он в присутствии начальника Одесского сыскного отделения, помощника начальника резерва одесской полиции, начальника почтовой экспедиции, членов одесского охранного отделения в помещении пересыльной тюрьмы проявил свои феноменальные способности и

необычайную развитость и гибкость всех телесных членов. Будучи в здравом уме и твердой памяти, мы свидетельствуем, что артист Галецкий, не пользуясь никакими инструментами и ничьей посторонней помощью, сначала легко освободился от надетой на него и крепко завязанной пятью морскими узлами горячечной рубашки для буйнопомешанных. Узлы и крепость сей психической рубашки были лично проверены начальником сысского отделения. Затем артист Галецкий легко освободился от стальных, запертых на замок новых наручников и, наконец, без посторонней помощи высвободился от двенадцати железных цепей, которыми он был весьма надежно, крепко и аккуратно связан членами сысского отделения. На освобождение от смиренной рубашки, наручников и цепей ушло чистого времени пятнадцать минут...»

Пятенко, прочитав удостоверение через плечо, густо засопел:

- Он в наручниках? — спросил Муравьев.
- Так точно.
- Видишь, какая каналья.
- Вранье все это.
- А печать?.. Значит, так, Пятенко...

Алексей Петрович задумался: что-то в аресте Галецкого ему показалось сомнительным. Еще утром, получив анонимное письмо, в котором неизвестный доносил контрразведке о том, что артист Галецкий, проживающий в меблированных комнатах О. Трапс по Архиерейской улице, активно сотрудничал с большевиками, а сейчас шпионит по заданию красных, — Муравьев испытал сомнение. Его покорили и тон записки, и внешний вид письма. Лист бумаги был захвачен кое-где жирными пальцами, с каким-то чернильным пятном, походившим на женскую головку в верхнем правом углу. Перо, каким оно было написано, царапало и раздирало бумагу, а там, где наезжало на масляные следы, спотыкалось и густо брызгало. А масса грубейших ошибок, словно бы письмо писал человек, не знающий русского языка... одним словом, анонимка была явно сведением чьих-то личных счетов. Но военная обстановка, близость фронта обязывала штабс-капитана незамедлительно реагировать на подобного рода сигналы, проверять их достоверность, поэтому он и отдал распоряжение об аресте.

— ...вот что, Пятенко, давай-ка его ко мне, — приказал Муравьев, хотя раньше собирался отложить встречу с арестованным до утра, но уж больно странные вещи узнались из беглого прочтения бумаг.

Вся эта история была сейчас крайне некстати —



Алексей Петрович как раз готовился вызвать на допрос арестанта из бильярдной комнаты.

Дверь распахнулась, и Пятенко с часовым Остриком ввели в кабинет Галецкого.

Алексей Петрович на миг растерялся и даже машинально встал из-за стола: перед ним был одетый с иголочки разгневанный господин во фраке и с каким-то цветком в петлице. Господин, бранясь, шел к столу и на ходу... стаскивал с запястий наручники!

— За кого вы, черт возьми, меня принимаете?

Муравьев не слышал его слов, пораженно уставившись на змеиные руки артиста: Галецкий сдергивал наручники с такой быстротой и так просто, словно пару перчаток.

— Это в конце концов смешно! — Галецкий зло грохнул наручниками по столу Муравьева, а сам плюхнулся на стул и принялся растирать запястья.

Молоденький часовой Острик с перепугу вскинул винтовку, судорожно прицелился в господина и так замер с открытым по-детски ртом.

Пятенко тоже с натугой тащил из кобуры оружие.

— Да у него руки трясутся: ведь застрелит со страху дурень! — воскликнул Галецкий.

— Отставить, — скомандовал, очнувшись, штабс-капитан Острику и взял себя в руки. Сел. Потрогал наручники: они были заперты и исправны.

Часовой приставил винтовку к ноге.

— Разрешите? — Галецкий бесцеремонно лез пальцами в муравьевский портсигар, а левой рукой уже щелкал зажигалкой.

— Пятенко, останься, а ты постой в коридоре у двери, — кисло отдал приказ Муравьев, — чего встал как пень.

Первое чувство изумления сменилось досадой. Было ясно, что с арестом этого лощенного субъекта Галецкого Муравьев, видимо, попал пальцем в небо, зато угодил в муторную историю. У него разом заболела голова — верный признак недовольства собой.

— Кто вы? — глухо спросил штабс-капитан.

— Я? — удивился Галецкий и кивнул на стопку бумаг на столе. — Там все сказано. А вот кто вы, милостивый государь, позвольте спросить?! И по какому праву со мной так обращаются?

Он был бледен от возмущения, глаза метали молнии.

— Вы в контрразведке, господин Галецкий, — ста-

раясь не выходить из себя, сказал Муравьев, — вы подозреваетесь в шпионаже, а эти ловкие фокусы не мешают пустить вас в расход...

— Ого! — выпучил на него глаза арестованный и вдруг захохотал громко и нагло.

— Потрудитесь вести себя пристойно. И погасите папирску, — вскипел Муравьев.

— Я еще мог сносить оскорбления от ваших скотов, но не от офицера. Потрудитесь сменить тон, штабс-капитан! Я хороший приятель с Антоном Ивановичем и буду жаловаться.

Имя Деникина подействовало на Муравьева отрезвляюще: Галецкий оказался не только ловким субъектом, но еще и опасным человеком.

— Пятенко, оставьте нас вдвоем.

Когда унтер-офицер вышел, штабс-капитан сказал почти миролюбиво:

— Давайте оставим эмоции для гимназисток и объяснимся. Я получил о вас компрометирующие сведения. Не скрою — сведения непроверенные, может быть, пустейшие, но, согласитесь, идет война. И обязан был по службе принять меры.

Галецкий пустил струйку дыма и сказал в ответ:

— Я знаю, в чем дело. Меня оклеветал Бузонни.

— Умберто?!

Ах вот почему Муравьеву показалось, что анонимное письмо написано словно не русским.

— Вы разве знакомы? — удивился Галецкий.

— В общем да... но зачем ему?

— Из черной зависти. Мы, артисты, — завистливый народ... Вчера между нами произошла резкая сцена. Он осмелился... впрочем, это все пустое. Его донос — это месть пошляка и посредственности.

Муравьев промолчал: версии Галецкого нельзя было отказать в известной логике. Головная боль ввинчивалась в виски словно шуруп; Алексей Петрович был подвержен приступам внезапной мигрени.

— Надеюсь, я свободен?

— Минуту, господин Галецкий, одну минуту. Я верю вам безусловно и приношу извинения за грубость подчиненных. Но отпустить пока не могу. Сейчас мы доставим этого подлеца Бузонни в штаб. Вы при мне объяснитесь, и я вас тут же отпускаю.

— Но я и так потерял из-за вас уже три часа! У меня свои планы, штабс-капитан...

Галецкий принялся яростно тыкать искуренной папирской в пепельницу. Его исковерканный, стоптанный сапожком окурок среди аккуратных недокуренных папирс хозяина бросился Муравьеву в глаза. Ему захотелось влить пощечину в лицо этого развязного штатского субъекта.

— Пятенко, — заорал Муравьев в дверь, — сдайте господина Галецкого начальнику караула!

Сейчас чувство власти было особенно приятной ношей: если бы Муравьев захотел, Пятенко истоптал бы этого господинчика сапогами.

— Как вы смеете! — взорвался Галецкий.

— Отведите самую лучшую комнату, — не обращая внимания на его гнев, бросил штабс-капитан, — в сортир выводить по первому требованию.

— А ну, — грубо ткнул Пятенко в грудь Галецкого револьвером, а Острик в коридоре опять вскинул винтовочку.

Галецкий внезапно стих. Посмотрел в глаза Муравьева злым холодным взглядом, усмехнулся и спокойно вышел из кабинета.

Когда Пятенко вернулся, Муравьев дал команду в два счета доставить к нему мерзавца Бузонни из гостиницы «Отдых Меркурия». Кстати, он и сам проживал там же, в 24 номере, на втором этаже. Точнее, приезжал спать на ночь, а утром возвращался на весь день в штаб.

Оставшись наедине с приступом головной боли, Муравьев понял, что инцидент с Галецким явно вывел его из формы и что к ночному допросу арестанта из бильярдной комнаты он не готов.

Стрелки часов подползали к полуночи.

С улицы донесся дружный топот сапог, Алексей Петрович, пытаясь рассеяться, подошел к окну, отогнул край камлотовой шторы: из-за угла на площадь выходила короткая колонна юнкеров по пять человек в шеренге. Впереди с ярким электрическим фонариком шел старший офицер. Юнкера шли из городской бани в казармы. Колонна шла молча, быстрым шагом.

«Пушечное мясо», — раздраженно подумал штабс-капитан.

Над крышами Энска, над Царской площадью, уходя к горизонту, нависала вязкая ночь. На мрачном бархатном пологе светилась леденцовая луна. Серп на верхушке татарской мечети был похож на кривой пти-



чий коготь. Все излучало тайну и враждебность. Стоя у окна своего кабинета на первом этаже, Алексей Петрович, поживаясь, почти явственно ощущал, как далеко с севера поддувало стальным сквознячком рейдов противника. Где-то там, в бесконечной черной утробе пространства, неведомым варварским созвездием горела Москва, оттуда тянуло холодком тревоги, там играло красным полотнищем зарево вселенского пожара... Голова штабс-капитана на миг закружилась, словно Алексей Петрович опять смотрел в черную полынью, как в то морозное утро 17 декабря 1916 года, когда он с Петровского моста глядел на Малую Невку, на лед, на прорубь, на снег, истоптанный сотнями сапог, на мушиное кишение толпы вокруг полыньи, куда убийцы сбросили приконченного ночью бывшего крестьянина Тобольской губернии Григория Ефимовича Распутина, или Новых, как переименовала его фамилию императрица.

Поборов жутковатое головокружение и постыдное желание вдруг немедленно отпрянуть от опасного окна и отойти прочь в глубь освещенного кабинета, штабс-капитан твердо остался на месте. Прочь, постыдные страхи и ночные предчувствия! Алексей Петрович Муравьев твердо стоял напротив блескучего стекла и взором истинного геометра видел как на ладони всю свою Россию, ее скелет, всю сумму ее исторических и статистических координат. Перед ним незримым парадом маршировали в шеренгах по росту слагаемые этой сущности, важнейшие даты государственной истории, вписанные в учебники для отечественных гимназий, напечатанные в народных сытинских «Всеобщих русских календарях» крупным шрифтом: в 1382 году татары сожгли Москву; в 1768 году были введены ассигнации, и Екатерина II привила себе оспу; в 1808 году была запрещена на российских ярмарках продажа людей; геройские моряки Дубасов и Шестаков в 1877 году взорвали турецкий броненосец; смерть императора Александра II от рук динамитистов произошла в 1881 году.

Словно с невероятной высоты Муравьев обнимал своим взором всю земную сушу, которая ясно разделялась на три континента: Старый Свет, Новый Свет и Австралию. Над земной сушей вставала самая высокая гора мира, азиатская гора Гауризанкар высотой 8 тысяч 810 метров над уровнем моря, а над исполинской горой в небе сияли тысячи звезд, которых, по Гульдсу, в се-

верном полушарии насчитывалось невооруженным глазом ровно 6 тысяч 100 штук. Последняя цифра особенно восхищала двумя нулями, которые плотно, плечо к плечу, держа равнение на середину, проходили перед мысленным взглядом штабс-капитана... негеометр да не войдет!

Алексей Петрович Муравьев, штабс-капитан и контрразведчик Добровольческой армии, устраивал очередной мысленный смотр-парад своих вечных частей целого. От соображений о том, что, например, судов на земном шаре насчитывается более 100 000 единиц, что римский папа — Бенедикт Пятнадцатый, а президент Франции — Раймонд Пуанкаре, или от факта, что на земном шаре проживает больше миллиарда человек, — от всех этих умственных дислокаций душа Алексея Петровича приводилась в порядок и вновь начинала верить в силу логики, в гений геометрии, в победу над Хаосом.

Как современный левиафан, громада «Титаник» сквозь пучину держал курс к берегу, так штабс-капитан Муравьев неуклонно проводил сквозь мировой беспорядок свою идеальную прямую, уповая на то, что через две любые точки на плоскости можно провести прямую линию, и только одну!

Он вплотную стоял у окна.

Луна над мечетью бросала на его лицо через стекло призрачный свет. На лице освещались полоска рыжеватых усов на верхней губе, маленькое, почти дамское пенсне на переносице, упрямая складочка на лбу. Лунный свет заливал его яйцевидную голову, аккуратно стриженную машинкой, играл на золотых выпушках черных погон, освещал трехцветный шеврон на рукаве френча, телефон в железной желтой коробке на столе, зеленое сукно.

Луна смотрела на человека, а человек смотрел на луну своим как бы стеклянным выпуклым взглядом и, между прочим, знал, что ее истинный размер в ночном небе мал и не так значителен, как кажется профану, что это можно легко проверить, поймав в карманное зеркальце лунный диск и наложив на отражение в зеркальце серебряную монетку: двугривенный закроет ночное светило.

Здесь мысль Алексея Петровича споткнулась и стала мельчать, диспозицию фактов нарушили почти вольфганговские данные о том, что пятидесятилетний человек за свою жизнь 6 тысяч суток спит, а 500 суток болеет, что

святой Николай-чудотворец был благочестив уже в младенчестве и в постные дни отказывался от материнской груди.

Зазвонил телефон.

— Да.

Муравьева вызывал абонент из гостиницы.

— Господин штабс-капитан, — доложил унтер-офицер Пятенко, — вся семья тут, а этого бисова черта Бузона нема. Утек, кажись.

— А птица где? Птица! — закричал Муравьев. — На месте?

— Так точно. Здесь она, ваше благородие.

У Муравьева отлегло от сердца, зато вновь нахлынула мигрень. Без семьи и дорогущей птицы итальянец не мог бы сбежать.

— Оставайся на месте, Пятенко. Жди. Он где-то здесь.

Муравьев хотел было положить трубку, но передумал и попросил дежурного телефониста соединить с караулом.

Прапорщик Субботин сообщил сонным голосом, что в карауле все в порядке, арестанты на месте. Спросил: — Комиссара вести?

— Нет. Отставим.

Муравьев отложил допрос до утра, что было против его же правил, и вызвал к подъезду коляску ехать спать в гостиничный номер. От мысли, что наглецу Галецкому все же предстоит провести ночь не в своей постели, ему было даже приятно, а жалобу на имя Антона Ивановича он сумеет предупредить...

Вот только куда пропал каналья Бузонни?

Тем временем «каналья Бузонни» с племянником Ринальто вышли из квартиры хозяйки меблированных комнат, домовладелицы Ольги Леонардовны Трапс и, поспешно поднявшись на четвертый этаж, открыли хозяйским запасным ключом дверь в квартиру № 6, где до сегодняшнего ареста проживал квартирант Галецкий.

Вдвоем, в темноте, они долго искали выключатель в прихожей, пока наконец, чертыхаясь, Умберто не включил свет. Тусклая лампочка в абажуре осветила приятно обставленную прихожую с маленьким изящным диванчиком-пате, старинным шкапом для одежды, с английской настенной зажигалкой и большим трюмо, в ко-



тором Бузонни увидел свое красное от волнения лицо, обрамленное бакенбардами. На трюмо стояла по виду серебряная вазочка с будельгомами. Бузонни, не удержавшись, протянул руку, взял один будельгом, но не успел открыть рта, как раздался громкий страшный удар, сначала один, за ним второй. Племянник метнулся к двери и совсем уже было выскочил на лестницу, но Бузонни успел поймать его за полы рукой и, прижав к стене, прошептать несколько французских ругательств.

Это били напольные часы с башенным боем и фарфоровым амуром на циферблате.

Сначала Бузонни бегом прошел по всей квартире, заглянул в гостиную, в кабинет, прошел по коридорчику, мимо туалета и ванной, на кухню, убедился, что квартиры пуста, и вернулся в прихожую. Ринальто ел сладкие будельгомы. Бузонни пожал плечами и молча дал понять, что того, что они ищут, на виду нет. Начались лихорадочные поиски.

Они начали с прихожей.

В поисках потайной дверцы Ринальто простучал и внимательно осмотрел стены прихожей, обклеенные набивными обоями. Умберто раскрыл скрипучую дверь шкапа и обшарил карманы висящего в шкапу пальто с потертым бобровым воротником, вывернул карманы белого мундира с позолоченными пуговицами, тщательно обследовал сюртук, в котором нашел только сломанный ключ. Хотя в квартире не чувствовалось присутствия женской руки, в шкапу висело дамское маркизетовое платье с оборками и костюм английского покроя «редфрен». На столике трюмо Бузонни заметил также пудру «Мими Пенсон», дамские духи «Кер де Жанзат» и японский крем для лица «Пат-ниппон». Выдернув из трюмо легкий ящичек для безделушек, Бузонни наткнулся на две книги: роман Пьера Лоти «Брак Лоти», о встрече на Таити европейца с прекрасной девушкой Рарау, и толкователь вещей снов — томик в плотной обложке. Последняя книга, пожалуй, имела к профессии Галецкого хоть какое-то отношение. Тем временем Ринальто открыл крохотную дверцу настенной зажигалки и неожиданно обнаружил там протезионный стеклянный глаз с мертвым радужным зрачком. Свою находку Ринальто брезгливо бросил в пустую вазочку из-под будельгомов.

Больше ничего в прихожей обнаружить не удалось. Бузонни и племянник прошли в гостиную. Первое, что

они увидели, включив свет, следы поспешного обыска.

Если имя Галецкого, к несчастью, ничего не говорило офицеру штабс-капитану Муравьеву, то, напротив, оно было хорошо известно антрепренеру, исколесившему за семь лет успешных гастролей пол-России. Галецкий! Трансформатор, манипулятор, престижджитатор и иллюзионист высшего класса — Ю. Галецкий! Его имя в мире искусства магии было окружено легендой.

...А началось все и кончилось летом 1913 года, когда никому не известный артист, выступив в знаменитом петербургском эстрадном театре «Модерн», ворвался в созвездие первых имен русского иллюзионного искусства и затмил блеск заграничных светил. По всеобщему мнению, с ним не могли конкурировать ни «король мистификаторов» американец Вильям Робинс, он же Чунглин-су, ни англичанин Чарльз Бертрам, ни знаменитый изобретатель автомата «Психо» и основатель магического дворца в Лондоне Джон Маскелин, ни американский «король монет» Нельсон Даунс.

В «Модерне» Галецкий дал немногим больше десяти представлений, на которые ломилась не только петербургская публика демимонд (полусвета), но и сами дельцы от фокуса, «короли сцены», «доктора иллюзионных искусств», «профессора черной и белой магии». Многие из них ходили на несколько выступлений кряду, пытаясь раскусить секреты опасного конкурента. В битком набитом зале сошлись агенты самых известных российских антреприз: цирка братьев Петра и Акима Никитиных, цирка Максимилиано Труцци и Афанасьева, братьев Годфруа, одесского цирка Дионисия Феррони. В зале побывали два юрких иностранца из эдинбургского театра-иллюзиона «Эмпайр». Несколько номеров сфотографировал француз из парижского театра ужасов «Грангиньоль». Два вечера подряд на первом ряду сидел знаменитый антрепренер грек Ксидопулос.

По мгновенному молчаливому соглашению Галецкий был сразу признан звездой экстра-класса, и искушенная публика горячо приветствовала новоявленную звезду. Никто не знал, откуда он взялся, где приобрел столь высокое мастерство, кто конструировал ему иллюзионную аппаратуру. Неизвестны были ни его национальность, ни биография, ни даже настоящее имя, скрытое под звучным псевдонимом — Галецкий.

Неизвестно было, чем зарабатывал себе на жизнь этот человек раньше. По одним сведениям, Галецкий родил-

ся в Одессе, по другим, он выходец из обрусевших немцев. Импрессарио «Модерна» миллионер Тарасов, с которым Галецкий подписал контракт на головокружительную сумму, только подливал масла в огонь, сообщая по секрету совершенно невероятные сведения вроде того, что Галецкий праправнук знаменитого авантюриста графа Сен-Жермена (1710—1784), или правнук прославленного иллюзиониста и шулера Калиостро (1743—1795). Сам же Галецкий отвечал корреспонденту журнала «Театр и варьете», что в результате мотоциклетной катастрофы в Берлине в 1909 году он потерял память и был вынужден принять новое имя и почти заново учить родной язык. По его словам, до катастрофы он, видимо, не обладал никакими иллюзионными способностями и открыл их в себе случайно, заметив, что его глаза имеют способность к рентгенизации. В доказательство этой версии по всему Петербургу были расклеены афиши с огромным портретом Галецкого. В афише, кроме рекламного текста, спрашивалось о том, не знает ли кто этого человека, не встречал ли его раньше, если да, то при каких обстоятельствах. За сообщение биографических сведений о нем самом, потерявшем память, артист обещал крупное вознаграждение.

Конечно, никто из дельцов цирка и варьете этому не верил, но рекламным трюком восхищались.

Пытаясь проникнуть в тайну, конкуренты пустили в ход все возможное: от подсадных зрителей, мешающих вести программу, до попыток подкупить двух ассистентов Галецкого. Эти попытки не удались, дьявольский нюх Галецкого предугадывал и разоблачал все ловушки. А тут выяснилось еще два удивительных обстоятельства. Весь бешеный доход от контракта артист передавал на благотворительные нужды в «Российское общество помощи инвалидам — солдатам Порт-Артура». И второе: Галецкий охотно раскрывал желающим некоторые из своих карточных трюков. В его уборной за кулисами «Модерна» побывали известные манипуляторы, профессиональные картежники и матерые шулеры. Галецкий показал новые блестящие приемы манипулирования картами, познакомил с собственной таблицей расположения карт в подтасованных колодах. Он продемонстрировал несколько остроумных вольтов (способов незаметно менять местами две половины колоды карт), объяснил новые приемы исключительно тонкого форсирования (прием, заставляющий зрителя «непроизвольно» выбрать

Е



именно ту карту, которая нужна фокуснику). Руками Галецкого заинтересовались даже медики, руки были изучены и зарисованы.

Особенное восхищение профессионалов вызывал трюк «бумеранг», когда Галецкий так мастерски метал со сцены в зрительный зал карту, что она, долетев до последнего ряда, возвращалась обратно. Кроме Галецкого, никто не мог повторить «бумеранг» с таким блеском.

Подобное отношение к конкурентам — дележ секретов — многие считали архиглупостью. Бузонни это мнение разделял, хотя не мог не удивляться «загадочной русской душе», «ле шарм слав» — славянскому очарованию.

«В России все немного сумасшедшие», — думал Бузонни.

Он был на седьмом выступлении Галецкого в «Модерне».

Он запомнил его профессиональной памятью антрепренера до мельчайших подробностей... Поднимался занавес, и на слабо освещенную сцену выходил Галецкий в черном фраке и модных узких брюках. Его встречали бурей аплодисментов. В полумраке на авансцене стоял совершенно пустой мраморный столик на изящных ножках. В глубине виднелись еще три столика, все заставленные реквизитом, иллюзионной аппаратурой. Слева и справа у кулис возвышались незажженные светильники на полсотни свечей каждый. Элегантно раскланиваясь, он делал неожиданный пасс и выхватывал из воздуха пистолет, стрелял по светильникам — и сотни свечей разом вспыхивали, театр заливался ярким светом, оркестр под управлением капельмейстера исполнял туш. (Умберто буквально впился глазами в артиста, хорошо разглядел и запомнил лицо худощавого человека средних лет, с внешностью оперного Мефистофеля, с юркими усиками на верхней губе).

Залитый светом, артист вновь церемонно раскланивался и в ответ на бурное приветствие представлял двух ассистентов: юношу-негра и светловолосую девушку в костюме гладиатора — коротенькая юбочка, сандалии с высокой, под икры, шнуровкой, с металлическим шлемом в перьях на голове и с атласной мантией за плечами. Затем артист объявлял, что первое отделение программы он посвящает памяти четырех великих иллюзионистов-предшественников, а именно: кавалеру Пинет-

ти, Роберу Удену, Бартоломео Боско, Буатье де Кольта, что он покажет сейчас публике их коронные номера. Алле! И на зрителей обрушивался каскад трюков, выполненных Галецким в невероятном темпе. Выхватывая из воздуха пистолеты разных марок — браунинги, маузеры и кольты, артист открывал стрельбу с двух рук по свечам на светильниках. Одним залпом он гасил пять свечей на левом светильнике, одновременно зажигая пять свечей на правом, пока наконец все свечи не превратились в маленькие лампочки-гирлянды, которые обвились вокруг двух новогодних елок. Галецкий выдергивал перья из шлема ассистентки, сжигал их под стеклянным колпаком, делал несколько пассов. Дым под колпаком приобретал очертания голубя, артист переворачивал колпак, из которого вверх взмывали два голубка — черный с белой головкой и белый с черной головкой. Разноцветные ленты, которые были привязаны к голубиным лапкам, мешали птицам улететь. Держа ленты в руке, Галецкий выражал неудовольствие, подтягивая бьющих крыльями птиц к себе, быстро усыплял их, менял головки и снова накрывал колпаком. Через минуту белый и черный голубки оживали. Как исполняется номер, Бузонни немного знал: если умело пережать канарейке или голубю сонную артерию — птица замертво падает. Привести в чувство ее можно, поместив под колпак, куда незаметно накачивается чистый кислород... но как Галецкий «поменял» головы?

Между тем негр выносил на сцену картину с натюрмортом: корзинка, полная фруктов. Галецкий стрелял в картину, и оттуда на поднос сыпались персики, сливы, виноградные гроздья, апельсины. Девушка-ассистентка, сменившая свой гладиаторский наряд на полосатое трико, несла поднос между рядами. Публика тянула руки за фруктами. Умберто тоже успел схватить из-под носа соседа аппетитный персик и, осторожно надкусив, обнаружил, что персик свеж и нежен, словно только что из Елисеевского магазина на Невском проспекте. В зале резко запахло кожурой апельсинов.

Не теряя темпа, Галецкий продолжал нагнетать чудеса. Протянув карточную колоду зрителю из первого ряда, он предлагал взять наугад любую карту, оторвать для метки ее уголок и сохранить у себя для контроля. Другому зрителю артист подносил горсть гвоздей и просил на любом выбранном из горсти гвозде сделать отметку. Карту, выбранную зрителем, с оторванным угол-

ком Галецкий демонстративно рвал на мелкие кусочки и на глазах публики сжигал обрывки. Девушка-ассистент, уже в леопардовой шкуре через плечо, вручала магу-артисту футляр, из которого тот доставал сияющий серебром старинный пистолет, затем смешивал порох с пеплом сожженной игральной карты, насыпал смесь на полку, закладывал вместо пули гвоздь, помеченный зрителем... Долго целился в стену. Выстрел! И на стене под «ах!» всего зала оказывалась только что сожженная на глазах публики карта, та самая, с оторванным уголком, вбитая в стену меченым гвоздем. Зритель из первого ряда приглашался на сцену и прикладывал свой контрольный уголок к карте. Та самая!

Только здесь Бужонни смог в изнеможении откинуться на спинку кресла и перевести дыхание. Он знал в общих чертах секрет этого эффектного трюка, придуманного когда-то великим кавалером Пинетти де Мерси (1750 — около 1801). Фокус этот проделывается так: получив от зрителя игральную карту с оторванным уголком, артист незаметно накладывал ее на другую карту точно такой же масти и достоинства, и тщательно копируя линию обрыва, обрывал уголок дубликата. Одна из карт пальмировалась (пряталась в рукав), а другая публично разрывалась и сжигалась. Благодаря особенному устройству пистолета, заряженный меченый гвоздь не выстреливался, а незаметно падал на ладонь фокусника. Гвоздь и карта передавались ассистентке в ту самую минуту, когда она относила футляр от старинного пистолета за кулисы. Здесь наступал самый ответственный момент. Артист, отвлекая внимание публики на себя, смешивал пепел сожженной карты с порохом, насыпал смесь на пистолетную полку, а помощник за специальным экраном, который с самого начала представления стоял на сцене, замаскированный под боковую стену, прибавлял меченую карту меченым гвоздем к настоящей боковой стене и прикрывал прибитую карту маленьким матерчатым клапаном под цвет фона. Тем временем Галецкий целился в противоположную сторону, помогая помощнику быть незамеченным. Зал замирал в ожидании выстрела, взгляды приковывались к сверкающему в свете люстр и фонариков дуэльному пистолету. В это время экран со сцены потихоньку убирался, фокусник, внезапно передумав, стрелял в противоположную сторону. Помощник, дергая за длинный шнур, одновременно с выстрелом срывал матерчатый



клапан, и на стене являлась публике «сожженная карта» с оторванным уголком и вбитая в стену меченым гвоздем...

Фокусы с пистолетами и стрельбой Галецкий закончил фантастическим трюком «расстрел». Трем офицерам из первых рядов были предложены на выбор несколько армейских пистолетов и пули. Бузонни особенно запомнился покрасневший от смущения молоденький поручик, который, выбрав браунинг, зарядил обойму одним боевым патроном, нацарапав, как и два других офицера, специальную метку на пуле. Из оркестровой ямы раздалась тревожная дробь одинокого барабана. Офицеры, волнуясь, прицелились в Галецкого и по его команде нажали курки трех пистолетов. Грянули выстрелы — и что же... артист держал пули в зубах. По залу прокатилась волна возбужденных вскриков. Галецкий нарочито медленно выложил пули на поднос ассистента, и негр понес их на досмотр господам офицерам. Разумеется, все три пули оказались те самые, меченые. Умберто невольно подумал о своем балагане для простофиль, пропахшем псиной. Молоденький поручик с тремя звездами на погонах пожимал плечами и растерянно вытирал платком вспотевший лоб.

Трюк с пулями в зубах открывал феерию, посвященную знаменитому французскому иллюзионисту Этьену Роберу Удену (1793—1863)... К Галецкому по воздуху подлетала волшебная палочка и делала супле-се (кульбит). Раскланявшись, он осторожно, словно горячую, брал палочку в руку. Первый волшебный взмах — и в его свободной руке появилась бутылка шампанского вина «Абрау». Ассистенты уже стояли наготове с подносами, заставленными бокалами. По заказу публики Галецкий разливал из одной и той же бутылки шампанское, водку, сидр, ликер, коньяк, ассистенты спускались в зал и разносили полные бокалы среди зрителей. Умберто Бузонни и тут сумел, потеснив соседей, выхватить с подноса бокал с тягучей жидкостью. Это было настоящее «Божоле» самого превосходного качества. Схватившись, что к поданному вину нужны фрукты, Галецкий второй раз взмахивал магической палочкой, и из ящика с землей, уже поставленного негром на мраморный столик, на глазах у всех вырастало апельсиновое деревце.

Сначала из земли проклевывался зеленый росток, затем появлялся свежий побег, деревце росло по мину-

там, от ствола вытягивались веточки, на них набухали почки, из почек разворачивались свежие листочки, апельсиновое деревце шелестело листвою, среди которой появились спелые плоды. Галецкий собрал апельсины, и девушка-ассистентка опять с полным подносом спустилась к зрителям, но, заметив вскакивающего с места итальянца, на этот раз бесцеремонно обнесла Бузонни фруктами.

Аплодисменты уже звучали потише. Мало-помалу могущество Галецкого приводило публику в оцепенение. Это искусство казалось сатанински-всесильным, и Бузонни невольно разделял страх. Теперь он, кажется, понимал, почему два русских купца спьяну купили на пару за бешеные деньги знаменитую свинью у клоуна Танти-Беаччи из цирка Саломанской и эту замечательную свинью съели в ресторане «Эрмитаж», где повара приготовили из нее отменное жаркое. Свинья была еще вкусней оттого, что умела танцевать вальс, ходить на задних ножках, стрелять из револьвера и прыгать через огненные обручи...

Почувствовав напряженную тишину в публике, артист Галецкий непринужденно спустился в зал с колодой игральных карт. С безразлично-любезной улыбкой, заgrimированный под оперного сатану из «Фауста», он продемонстрировал зрителям целый каскад карточных манипуляций.

Галецкий превращался в карточный водопад, постепенно сюда примешивались и другие предметы. В то время как левая рука манипулировала с картами, в правой псаявлялись золотые десятки. Они катались по ладони, исчезали меж пальцев и снова появлялись. Монеты словно мешают артисту, Галецкий рассовывает их по карманам, но они все появляются и появляются. К монетам прибавляются стеклянные шарики, сигареты, цветы, карманные часы на цепочках, портсигары. Карты, «случайно» упавшие на пол, Галецкий небрежно подбрасывал вверх носком узких штиблет.

Фейерверк кончился внезапно.

Остановившись у третьего ряда, Галецкий вдруг впился глазами в лицо Умберто и, перегнувшись через соседа, быстро вытащил из внутреннего кармана обомлевшего Бузонни бокал из-под «Божоле». Как он там очутился? Умберто казалось, что он вернул его на поднос ассистентки. Может быть, его загнипнотизировали? Правда, он мысленно позарился на шарик, меняющий

цвета по желаниям зрителей и, кажется, попытался его присвоить тогда, когда шарик был пущен для большего эффекта по рядам... одним словом, Бузонни был в панике. Проклятый бокал к тому же оказался полон шампанского. Под смех публики Галецкий поднял тост за здоровье зрителей.

Глухим рокотом встречала наслышанная публика появление знаменитой «папки с сюрпризами» Робера Удена. Вот, например, из самой обыкновенной картонной папки появляется сверкающая клетка с попугаем, которая внезапно исчезает в руках мага. Галецкий на миг приостанавливает извержение предметов и, сняв с себя фрак, бросает его в зал для публичного осмотра. Получив фрак обратно, он вынимал из него клетку с птицей, надевал как ни в чем не бывало фрак и, стряхнув в напряженной тишине прилипшее к рукаву яркое перышко, вновь запускал в «папку сюрпризов» руку; на свет появлялись китайские веера, бумажные фонарики, вазы, летающие бабочки из тонкой бумаги, аквариум с живыми рыбками, пока, наконец, Галецкий не доставал из «рога изобилия» большой, высотой в пятнадцать вершков, кубик...

Поставив кубик на пустой мраморный столик, Галецкий объявлял, что в этом кубике сидит его ассистентка. Сильнее всех в этот миг, пожалуй, бились сердца профессиональных иллюзионистов: дело в том, что именно этот трюк с кубиком принес всемирную известность недавно умершему Буатье де Кольта. Об этом иллюзионном шедевре много писали и спорили. Среди трюков, которые уже запатентованы в Лондоне знаменитым иллюзионистом, этот, увы, не значился. Секрет трюка так и не был обнаружен, а после смерти де Кольта в 1903 году его вдова, выполняя его завещание, уничтожила всю оставшуюся аппаратуру (сам кубик, как и ручной инструмент де Кольта, хранится сейчас в частных коллекциях США). Итак, поставив кубик на пустой мраморный столик, Галецкий объявлял, что в этой игровой кости сидит его ассистентка, взмахивал палочкой, и кубик начинал расти на глазах. Когда он увеличился примерно до одного аршина высоты, Галецкий поднял его вверх и под ним действительно оказалась ассистентка в турецкой чалме и шароварах, сидевшая по-восточному, скрестив ноги. Шквал, буря аплодисментов!

Галецкий, бледный, заметно осунувшийся к концу



первого отделения, раскланивался и заявлял, что публика не замечает не только женщины, сидящей в кубике, но даже и слона, который давным-давно стоит на сцене. При этом артист показывал рукой назад, и пораженный зал видел, что на сцене и в самом деле стоит на виду у всех живой слон. Впервые позволив себе рассмеяться, артист угощал слона аппетитным букетом цветов и после того, как букет, пойманный хоботом, исчезал в пасти животного, Галецкий хлопал в ладоши, свет в зале гас на один миг, а когда снова вспыхивал, сцена, разумеется, была пуста.

Ни слона, ни груды вещей на полу, ни столиков, ни пюпитра с папкой Робера Удена, зато появлялась высокая лестница. Под оглушительные звуки заключительного марша Галецкий поднимался по ней и на верхней ступеньке, подобно Буатье де Кольта, исчезал в воздухе... Объявлялся антракт.

Бузонни был ошеломлен и подавлен, ему стало дурно то ли от выпитого во время представления, то ли от кошмарного нагромождения трюков экстра-класса, сделанных легко и непринужденно. Правда, впечатление от финала смазлось тем, что номер «молниеносное исчезновение африканского слона» был известен Бузонни. Он знал, что и покрывало, которым был накрыт слон, и занавес — из черного бархата. Это-то и делало слона невидимым. Стоит только сдернуть покрывало, как слон становится виден всей публике и, наоборот, стоило его накрыть, как огромное животное исчезало из глаз. При умелом освещении — иллюзия полная.

Впрочем, молчаливый вопль любой публики в цирке всегда один: «Обмани, обмани меня снова!» Она жаждет быть обманутой, и горе тому, чья ложь шита белыми нитками.

Теперь остается только сказать, что если бы об этом сенсационном выступлении было известно контрразведчику штабс-капитану Муравьеву, то уж он наверняка, бросив все прочие дела, решительно занялся бы в первую очередь, в сию же минуту, судьбой задержанного на неопределенное время знаменитого артиста и дьявольски опасного человека...

Но увы, Алексей Петрович, хотя и заметил удивительный фокус Галецкого с наручниками, хотя и прочитал полицейский отчет о чудесах с цепями, все же выводов для себя не сделал и даже сунул артиста в под-

вал. Мог ли он предполагать, к каким последствиям приведет такая небрежность?

...Алексей Петрович встал из кресла, потянул затекшей спиной, выключил настольную лампу и вышел из кабинета. У крыльца его поджидало изящное ландо и два верховых казака.

Опустившись на уютные кожаные подушки, Муравьев приказал трогать. Уснувший было извозчик бодро хлестанул поводьями бело-пегую чахлую лошаденку с черными шорами. Ландо в сопровождении охраны мягко покатило вдоль ночной пустой улицы под тревожно распахнутым звездным небом. Луна светила в спину, и пугающая лошадь пугливо ступала копытом в свою жидковатую тень. Алексей Петрович обратил на эту тень край своего внимания. Она, казалось, жила собственной тайной жизнью: вот она молча кривляется под ногами, а вот коляска попала в свет единственного фонаря, горящего напротив общедоступного театра ювелира Денисова — и тень вдруг почернела, вытянулась, как летящая птица, и насмешливо заколыхалась на булыжнике, словно собираясь взлететь. «Улечу, Алексей Петрович, не поймаешь», — будто шелестела она из-под копыт. И сутулая спина возницы чем-то напомнила Муравьеву нахохлившуюся птицу. Дом с белыми балкончиками на углу Елизаветинской тоже зацепил воображение штабс-капитана своим птичьим клювастым профилем. Даже казаки из охраны на чубарых татарских конях — особенно тот, что справа, были вылитые ночные грифы... одним словом, контрразведчику повсюду мерещились птицы, и неспроста мерещились. Чертов голубок никак не шел из головы Алексея Петровича!

— Эй, Лахотин, — окликнул Алексей Петрович извозчика.

— А Лахотин-то помер вчерась, ваше благородие, — оглянулся извозчик.

— А отчего помер? — спросил, помедлив, Муравьев.

— В пьяном виде жеребчик забил, прости господи. Голову ему растоптал в деннике.

— Какой жеребчик?

Вопрос был нелеп.

— Дурной Голубок, двухлесток. Горяч шибко. Совсем сумасшедший жеребчик, а тот возьми да в пьяном виде полезь целоваться.

Птичье имя дурного жеребца поразило штабс-капитана едва ли не больше, чем внезапная смерть пьяницы Агапа Лахотина. В этом имени — Голубок — ему вновь почудился указующий перст судьбы... «Надо же! И тут голубь». Капитан нервно пососал щеточку усов на верхней губе и оглянулся.

...Поначалу, узнав от Лилового о почтовом голубев-связном из-за линии фронта от красных, Муравьев рас-терялся. Голубь мог прилететь на любую из опустевших за два года гражданской войны городских голубятен (как выяснилось потом, их в Энске было около пятиде-сяти). Но ведь птица могла прилететь и просто на свой двор, на знакомый чердак, к любому дереву наконец! Ориентиры — песок вселенной! Нельзя же для перехвата поставить часовых к каждому кусту.

Попробуй поймать блоху под облаками!

Недаром голубиная почта — одна из самых ковар-ных уловок в истории разведсвязи. Например, исполь-зование почтовых голубей было настолько общеприня-тым средством связи с агентурой, что всем воюющим частям и Антанты и Германии приказывалось стрелять по голубям, летящим в сторону противника. Напротив, голубей, летящих от противника в тыл, было строго при-казано ловить и под усиленной охраной доставлять в штабы, разведчикам. Так, Алексей Петрович на гали-цийском фронте сам осматривал несколько мертвых птичьих тушек с секретными донесениями вражеской агентуры на лапках.

За поимку живого голубя в русской армии, как и в германских частях, выдавалось денежное вознагражде-ние или спирт. Захват почтового голубя живьем имеет иногда даже бóльшие последствия, чем арест агента.

Итак, узнав от Лилового о пернатом красном по-сланце из-за линии фронта, штабс-капитан вернулся в свой кабинет в состоянии глубокой задумчивости. Он да-же попросил дежурного телефониста не беспокоить его звонками и долго просидел над пустым столом. Он не знал, что и предпринять. Он даже сломал в раздумьях свой любимый карандашик с золотым тиснением, а по-том машинально с отсутствующим лицом пытался сло-жить обе половинки в прежнее целое — все это говори-ло о необычайном замешательстве.

Муравьев хорошо понимал, что перехватить боль-шевистского почтаря значило не только помешать под-полью выступить с оружием в руках в тот самый день



икс, но и упредить контрударом внезапный рейд-бросок противника на Энск. Этого проклятого голубя надо было поймать, подстрелить, загнать в угол во что бы то ни стало!

Штабс-капитан выбросил сломанные половинки карандаша и, вызвав в кабинет Лилиенталя, потребовал от него в полчаса составить справку о почтовых голубях... Повадки, слабые места, способы использования в почте и прочее.

Вскоре на его стол была положена коротенькая информация, отпечатанная ремингтонисткой: «Современная почтовая порода выведена в Бельгии. Обычный почтовый голубь способен пролететь по трассе за день и при попутном ветре... (цифра была отпечатана неразборчиво, и Муравьев поставил здесь знак вопроса). Зерноядные. Лесные горлицы вьют гнезда на деревьях. Тип развития птенцовый. Моногамы... («Да что они, смеются надо мной?!») Самцы окрашены ярче самок... Активно использовались на театре военных действий европейской войны...»

Муравьев резко, с досадой отложил сомнительный листок о почтарях и вдруг увидел еще одну бумажку на своем столе, которую он до этого не замечал... Действительно в тот памятный день Алексею Петровичу повезло, во всяком случае, он так сам считал до некоторого времени.

На бумажке был представлен для цензурного просмотра и разрешения к печатанию текст афишки, предлагавшей жителям Энска нижеследующее:

«Птица-убийца! Живая мифическая гарпия! Жуткий пернатый хищник тропических джунглей Амазонии! Показывается ежедневно всемирно известным артистом, настоящим итальянцем Умберто Бузонни в фойе синематографа «Арс». Зрелище вполне благопристойно для женщин и детей, а также для лиц духовного звания».

Прочитав сию афишку, Алексей Петрович откинулся на спинку кресла и глубоко задумался, в его голове появилась одна весьма странная, на первый взгляд дикая и нелепая, и все же не лишенная оригинальности мысль.

«А что, если?..»

Алексей Петрович порылся в памяти.

Гарпия в переводе с греческого — похитительница. В древнегреческой мифологии это крылатая женщина-

чудовище, богиня вихря с женской головой и туловищем хищной птицы.

«...слепой Финей взмолился о пощаде».

Детское воспоминание ясно шевельнулось перед штабс-капитаном: маленький мальчик стоит на коленях перед раскрытым книжным шкафом, на полу у его ног — толстый кожаный том; мальчик осторожно переворачивает страницы...

«...слепой жалкий старик оказался царем Фракии Финеем. Это его наказали боги, превратив царский город Салмидесс в пустынное кладбище. Злоупотребляя божественным даром прорицания, Финей раскрывал людям тайны судьбы, и боги, поразив его слепотой, вдобавок наслали на царский дом и город двух чудовищных гарпий, полудев-полуптиц, которые пожирали со стола царскую пищу, а город загадили нечистотами. Поведая аргонавтам об этой страшной каре, слепец взмолился о пощаде, но только герои приготовили богатую трапезу, как в дом влетели разгневанные гарпии. Все их тела покрывала блестящая и крепкая, как сталь, чешуя. На головах вместо волос двигались, шипя, ядовитые змеи. Лица гарпий, с их острыми, как кинжалы, клыками, с губами красными, как кровь, и с горящими яростью глазами, были так ужасны, были исполнены такой злобы, что герои на миг замерли от ужаса...»

Странную мысль свою Алексей Петрович несколько раз отгонял, но она упрямо возвращалась.

«А все же, что если устроить летающую ловушку?»

Автор афишки и владелец экзотической птицы находился в тот момент в коридоре штаба, дожидаясь разрешения, и Муравьев, поколебавшись, пригласил его в кабинет для весьма странного разговора.

Итальянский артист Бузони оказался круглым усатым господином с юркими плутоватыми глазками и багровыми апоплексическими щеками. Он хотя и плохо говорил по-русски, но отлично понимал все, что ему говорили.

И все же он никак не мог понять интерес штабс-капитана к гарпии.

— Да, — отвечал итальянец, — Цара ручная птица, почти ручная. Да, она может летать, крылья ей не подрезали. Иногда я отпускаю ее на свободу, и она всегда возвращается к клетке. Цара боится далеко залетать.

— Ваша птица хищная или питается, так сказать, по-вегетариански?

— О да, хищная и очень дорогая птица. Я купил ее в Триесте.

Бузонни вытирал потный лоб платком и не мог понять, чего ждать от такого любопытства, но чувал, что ничего хорошего за сим не последует и уже заранее был напуган.

— Иногда она ловит крыс, кошек, — продолжал он, — в свое удовольствие, но ест только вареное мясо. Цара отвыкла от живой пищи. Она имела большой успех в Париже, господин майор.

Повышение штабс-капитана в чине было всего лишь уловкой антрепренера, в офицерских погонах он разбирался.

— Я имею звание штабс-капитана, господин Бузонни, — холодно заметил Муравьев и продолжал: — А голубей она ловит?

— Да, да, ловит, штабс-капитан, прямо рвет на части. Терпеть их не может, — приврал итальянец. Впрочем, он не раз и не два замечал, что гарпия больше прочих птиц замечает именно голубей.

— Отлично!

Алексей Петрович не усидел на месте и закружился по кабинету. Бузонни перевел дыхание и незаметно выпустил втянутый по-строевому живот, ему казалось, что гроза миновала.

— Господин Бузонни, я хотел бы лично удостовериться в наличии такой птицы. Где она?

— Я всего лишь честный коммерсант. Моя афиша — это чистая правда. Прошу на балкон в моем номере, герр капитан.

Когда Алексей Петрович впервые увидел гарпию в клетке на балконе гостиницы «Отдых Меркурия», он не смог сдержать невольный испуг и чувство гадливости. Из груди огромной облезлой птицы вырастали лапы, похожие на голые по локоть женские руки. Казалось, эти руки принадлежат молодой ведьме, черные отполированные когти гарпии походили на длинные пальцы. Тварь прямо и злобно смотрела в глаза человека. Нелепый хохолок из перьев на макушке, похожий на старушечий чепчик, придавал ее ярости жутковатый комизм (южно-американская гарпия — одна из самых мощных хищных птиц на земном шаре. Разновидность хохлатых орлов: вес до полупуда. Охотится на обезьян, агути, ленинцев, носух. Перья гарпии служили обменной монетой у дикарей Южной Америки).



На вопрос штабс-капитана о том, приносит ли гарпия пойманных птиц к клетке, Бузонни сказал правду, что такое случается крайне редко, что обычно, разорвав жертву на части и утолив этим инстинкт хищника, Цара прилетает назад налегке, что пернатая дичь ее не интересует, но тут штабс-капитан не захотел ему верить. Догадавшись наконец о затее Муравьева, Умберто стал клясться и божиться, что гарпия никуда не годится, что она стара и ленива. Штабс-капитан не хотел его слушать и тут же на балконе, косясь на жуткую тварь, отдал приказ итальянскому антрепренеру Бузонни за определенное вознаграждение обеспечить ежедневное дневное «летание» некормленной птицы с целью уничтожения почтовых голубей. Останки пойманных птиц будет тщательно осматривать специальный часовой, пост которого будет находиться у подъезда гостиницы, а по возвращении птицы он будет подниматься в номер для осмотра. Все замеченные предметы, как-то: гильзы, записки, кольца, метки и прочие почтовые устройства руками не трогать и охранять их как зеницу ока до прихода часового.

Бузонни стоял ни жив ни мертв — злой рок держал его судьбу железной хваткой.

Даже если гарпия просто оторвет голову большевистскому почтарю где-нибудь на энских задворках, и то цель будет достигнута, размышлял Алексей Петрович, подпольщики не смогут вовремя поддержать красноармейскую атаку, сигнал не долетит до адресата.

«Руки по швам, птичка!»

В тот день штабс-капитан пребывал в отличном расположении духа. Коварной затее большевиков была расставлена в небесах ловушка. Кроме того, Муравьеву пришла в голову мысль уничтожить все уцелевшие городские голубятни и тем самым насколько можно очистить оперативное пространство для успешной охоты голодной бестии. Но самое главное, сейчас можно было подумать наконец о судьбе Учителя.

В своем блокноте Алексей Петрович с тайным удовольствием нарисовал кружочек и тут же зачеркнул его крест-накрест, а рядом нарисовал что-то похожее на хищную птицу с двумя головами.

Кружочек сей означал в его пиктограмме небо провидения, крест — счастливая мысль о гарпии, которую он изобразил в виде привычного символа: царского двуглавого орла... Одним словом, с небом было покон-

чено! Руки были развязаны, и теперь можно было арестовать пресловутого руководителя красного подполья, что и было немедленно сделано.

Итак, как раз в то самое время, когда Алексей Петрович, покачиваясь на мягких подушках, ехал в изящном ландо по пустому ночному городу к себе в гостиничный номер, позади, в подвале контрразведки, в бывшей бильярдной комнате бывшего благородного собрания, прямо на бильярдном столе — это было разрешено — дремал в беспокойном полусне и полузабытии арестованный председатель подпольного ревштаба и подпольного комитета Российской Коммунистической партии большевиков, бывший политкаторжанин, член РСДРП с 1912 года Ян Круминь, известный своим товарищам по борьбе под партийной кличкой Учитель.

...Ландо резко тряхнуло на бульжном участке, и Алексей Петрович чуть не вывалился из коляски.

— Лошадь деревенская, дурная, — предупредил его окрик извозчик и хлестанул что есть мочи низкорослую лошаденку.

— Обращайся по форме.

— Виноват, ваше благородие!

Лошадь принустила поживей: прибавили ходу и казачи охраны на своих чубарых татарских лошадаках. Коляска с эскортом выехала из Магазиного переулкa, пересекла Миллионную, проехала по звонкому Лохотинскому мосту над заболоченным каналом на Архиерейскую, приближаясь к доходному дому мадам Трапс, где в квартире арестованного постояльца Галецкого полным ходом шел самочинный обыск.

Алексей Петрович наконец-то слегка задремал. Ему на миг померещился дурной конь Голубок, забивший пьянчугу Лахотина в деннике, — этакий мифический кентавр с торсом Пятенко, в парадном кителе с унтер-офицерскими погонами: кентавр грозил кулаком штабс-капитану... «Привидится же такое!» Муравьев встряхнулся.

Свежий ночной ветер густой волной прошел по бульвару, зашатались темно-пенные кроны платанов, сухо закрипели лакированной листвою; подлунный Энск вставал слева и справа пустынными перспективами, словно забытье продолжалось, и город мерещился, светился, белел и качался в сумерках сна.

«Лошадь, — подумал Алексей Муравьев, — за се-

кунду галопа проскакивает 5 маховых саженей, орудийный снаряд пролетает 470 метров...» Он силился продолжить примеры, но...

Но, кроме выкладок штабс-капитана, кроме плюсов и минусов, стратегии и тактики и прочей умственной геометрии, есть еще бесконечное теплое небо, есть глубокий август, есть головокружение и восторг от высоты, есть, наконец, стремительный лет почтовой птицы, которая вылетела в полдень, есть перестук голубиноного сердечка высоко над землей, есть полет белоснежного турмана Фитьки, к малиновой лапке которого крепко примотана сыромятным шнурком гильза от патрона трехлинейной винтовки образца 1891 года, а в ней пыжом — скрученная бумажка, на которой рукой комиссара кавалерийской дивизии косым размашистым почерком написан приказ подпольному революционному штабу.



За три часа полета голубь почти не встречал птиц. Он был одинок в бесконечном пространстве, в воздушной пустоте, залитой солнцем. Казалось, время не движется. Во все стороны света протянулся небосвод. Замерли слева и справа редкие облака, похожие на обломки снежных вершин. Они отливают ясным неподвижным блеском. Внизу — чистая и гладкая земля. Вверху пылает солнечный диск. На него больно смотреть. Прямо над голубем, застыв, висит в прозрачной вышине серая бархатистая капелька. Это утонул в небесах полевой жаворонок. Турман слышит этот звенящий на ветру колоколец. Видит, как, зависнув на месте, жаворонок трепещет пестрыми куцыми крылышками. Кажется, что и голубь тоже не движется, не летит, а подвешен в центр мироздания.

За три часа полета турман пролетел со скоростью всего лишь около 20 верст в час меньше половины пути. Он мог бы пролететь значительно больше, но мешал сильный боковой ветер. Голубь переплывал течение незримой воздушной реки, впадающей в незримое море. Ирека, и воздушное море парили высоко-высоко над землей, упругое течение сносило турмана с курса, и он то набирал высоту, то падал вниз, и, выдерживая прямую, голубь терял скорость.

Земля внизу пуста, как в первый час после рождения. Новенькая, с иголочки, травяная площадка для игрищ богов и героев. В траве красуются фиалки и гиацинты, ландыши и маргаритки. Белеют скалы. Темнеют входы в пещеры. Из гротов бегут неслышные здесь, в вышине, пенные источники. Тени облаков скользят по земле. Кучевые громады похожи на горную цепь. Голубь замер в полете над снежной грядой воздушного Олимпа. Все оцепенело в глубокой тишине. На рощах, озерах и облаках лежит ясный отсвет солнечного ди-

ска. Мир позлащен золотистыми бликами, он спит, полузакрыв глаза, а в небесах проступают перистые видения его снов.

Но аркадский покой обманчив. Любое внезапное движение жизни здесь, рядом, в небе, или внизу, на земле, страхом стискивает голубиное сердечко. Вот мелькнул взлетевший на миг из степной травы, живущий на земле коростель. Взлетел и снова плюхнулся в высокую траву, которая, раскачиваясь, выдала его бег. Вот промчались в небе далеко справа не умеющие ходить и даже спящие на лету серпокрылые стрижи. Вот турману померещилось в вышине хищное кружение канюка, и Фитька падает, кувыркаясь через голову, вниз в малую рощицу, откуда, испуганная его внезапным падением, приснула сизым облачком стайка соек с синеватыми крыльями. Уже долетев камнем до липовых крон, турман понял, что испугался зря, и снова по пологой дуге взмыл вверх. Пролетел низко над степью, над бегущей в траве белобровой перепелкой, услышал ее звонкий голосок: подь-полоть! подь-полоть... И снова вышина, безмятежная вечность солнца и неба, тугое течение воздушной реки, взмах и скольжение, ток воздуха сквозь маховые перья, ровный блеск медной гильзы, примотанной к правой лапке, одинокий стук сердца... И вдруг снова отчаянный рывок вверх, бегство в открытое небо, после того как турман заметил черневшую внизу стаю хищного воронья у виселицы за околицей сожженного хутора. Увидев близкого голубка, один из стаи, видимо, вожак, неслышно захлопал угольными крыльями и по крутой кривой взмыл в небо, но в его неожиданном взлете не было ни пружинки голода, ни страха, а была лишь тяжелая сытая лень. Поняв это, ворон вяло спланировал в пыль пепелища.

И снова полет, и опять страх, заставляющий, сложив крылья, кувырком лететь вниз, в спасительную дубовую рощу. И опять его никто не настиг сзади, рассекая воздух когтями. В небе с треском летела огромная безлапая птица, которая никогда не охотится и не машет крыльями. Она пролетела, растопырившись крестом над рощей, и скрылась в золотом мареве.

На этот раз свой личный самолет, разведывательный биплан «Ньюпор-IV» поручик Винтер вел назад в ставку главковерха под Ростовом. Позади была плохо проведенная ночь, которую он скоротал на полевом аэродроме дроздовской дивизии, где пришлось спать

вполглаза прямо у самолета, в подогнанной к «нюпору» телеге, на соломе. Он боялся уйти в штаб и доверить машину охране дурных казаков, которые, несмотря на запрет, жгли ночью костры. Огненные искры поднимались в сухом ночном воздухе в опасной близости от летательного аппарата; прожаренный солнцем «нюпор» мог вспыхнуть, как бочка с порохом. Матерясь, поручик дважды ходил к постам, но казаки глядели на него такими злыми дезертирскими глазами, так молчаливо и жутко жевали печеную картошку, что оторопь брала. Утром пришлось вдобавок потерять еще битых два часа на заправку двигателя керосином, и только в небе, в благословенный полдень, посреди словно бы вчерашних, так и застывших на месте белых облаков, поручик снова обрел спокойствие духа.

Сегодня его маршрут лежал через энский аэродром, где он должен был захватить в ростовскую ставку оперативные донесения. За время полета с воздуха не было замечено ничего подозрительного: на льговской станции чадил на путях сгоревший остов пассажирского поезда, на проселочной дороге под Суржей валялась на боку искалеченная бомбой мортира с громадными коваными колесами, на пароме, застрявшем посреди обмелевшего Псела, как и вчера, одиноко торчала распряженная бричка с опущенными в воду оглоблями. Земля внизу заметно обезлюдела — линия фронта уже протюжила эти места. Пилот Винтер помнил, конечно, о вчерашней дуэли с красным конником-мальчишкой, но сейчас, с высоты 1270 метров он не обратил внимания на зеленое пятно дубовой рощи, над которой он вчера развернулся «блинчиком» после дурацкой перестрелки, тем более не мог он разглядеть из поднебесья медную гильзу на птичьей лапке с бумажкой, скрученной пыжом, на которой красным топографическим карандашом для карт рукой кавкомиссара была подведена черта и под его жизнью.

Голубок белел на ветке орешника, отдыхая, покачивался на пружинистой опоре, он тоже летел в Энск и тоже вылетел в полдень, и снился сейчас сам себе в зеленой тени огромным кучевым облаком, которое, ничего не боясь, может стоять посреди неба.

Турман вылетел в полдень, но сначала комдив Шевчук, стоя у растворенного окна, наблюдал, как вестовой



Сашка-Соловей осторожно держал в руке пугливую птицу, проверял пальцем прочность сыромятного ремешка, которым была примотана гильза к птичьей лапке.

— А не долетит? — хмуро спросил Шевчук.

Сашка весело оглянулся:

— Домой ведь.

И бережно подбросил голубя вверх.

— Ну, Фитька, пошел! Фью-ють!

Сашка слегка шепелявил и вместо «Витька» произносил «Фитька», поэтому голубь откликался и знал себя как Фитьку.

Из глубины комнаты к комдиву подошел кавалерийский комиссар Мендельсон и, кашлянув, заглянул через плечо во двор.

— Сопливая затея, — сказал комдив комиссару, не оборачиваясь, — я решил Сашку послать.

Комиссар молчал, он думал о Крумине, о последней встрече с ним перед отступлением из Энска.

Шевчук ждал ответа.

Турман сделал малый круг над двором и, неожиданно спустившись на стреху сарая, стал остервенело долбить клювом винтовочную гильзу.

«Пшел, кыш-кыш!» — смешно подпрыгивал Сашка, хлопая в ладони, пытаясь согнать почтаря.

— Расселся, — недовольно покачал головой Шевчук и, расстегнув кобуру, достал маузер.

— Сашку так Сашку, — согласился комиссар, — он из местных. Всю округу знает: пройдет через кордоны.

Шевчук высунул маузер дулом в окно и бабахнул в небо.

Голубь свечкой испуганно взмыл вверх, сделав один круг, второй, третий.

— Жалко Сашку, — вдруг сказал Шевчук, противореча сам себе, и с досадой толкнул маузер назад в кобуру, — я в субботу их так ковырну...

— Что ж, не посылай, — согласился комиссар, — почтарь всегда летит на голубятню; к утру будет. Его давно поджидают.

— А река? — опять начал Шевчук, будоража сам себя. — У беляков на мосту бронепоезд. Под огнем всю дивизию утоплю, а скрытно все равно не подойти. Возакавыка...

— У Круминя боевая группа в паровозном депо. Они должны взять бронепоезд и прикрыть атаку.

— Круминь, Круминь, — передразнил Шевчук, — стратеги в очках; хлопнут твоего почтаря как пить дать... Мы по ним в Галиции знаешь как постреливали? За тушку с гильзой полагалось литр спирту, а гильзу в бинокль любой дурак заметит. Прикончат его из паршивой берданки, и потоплю хлопцев на дно, к рыбам.

Мендельсон ничего не ответил. Ночью Сашка доставил приказ комарма — выступать в рейд по тылам противника.

— А Сашка наверняка пройдет, — глухо повторил комдив слова комиссара и замолчал.

Сашка-Соловей тем временем смотрел вслед голубю, не какому-нибудь чеграшу, а чистому, белоснежному, без единого пятнышка, любимому Фитьке. Разорвав тугой круг, турман полетел в сторону дома, к родной голубятне в вишневом саду на городской окраине у реки. Задрав голову, Сашка щурился от прямых лучей солнца, следя за мельканием легкой снежинки под облаками. Он летел вслед за ним: слышал забытый дружный голос родной голубятни в саду, воркование птиц в тенистом полумраке клетки...

— Соловьев, — услышал он голос Шевчука. Командир дивизии манил его рукой из окна. Из-за плеча комдива печально смотрел чернобородый комиссар в завидной форменной фуражке с настоящей металлической звездочкой посередине.

— Хорошего коня дай, — сказал он, пока Соловей, улыбаясь и оправляя гимнастерку, шел к окну.

— У него свой жеребец что надо, — буркнул комдив, — отцовский. Домой быстрее доскачет.

Затем он отдал словесный приказ: в 24 часа скрытно пробраться через расположения противника до города и через Дениса Алексеевича (Сашкиного отца — подпольщика) дать команду боевикам Круминя на захват железнодорожного моста с бронепоездом «Князь Михаил» для прикрытия кавалерийской атаки дивизии, которая последует...

— Есть, товарищ комдив, скрытно в 24 часа добраться до города и...

— Садись-ка перекуси, — сказал комиссар, усаживаясь за обеденный стол. — Вон щи с мясом, картошка, огурцы...

— Есть. Только Караулу овса подсыплю.

Через полчаса Сашка-Соловей проскакал на жеребце за околицу.

Глухо и тревожно отбарабанили копыта по шляху. Сашкин Караул — трехлесток благородных орловских кровей — шел мощным упругим галопом.

Несколько раз Сашка так, на всякий случай, оглядывал высокое небо в поисках летящего турмана, но почтарь был уже далеко впереди.

А около пяти часов, когда дневная жара начала понемногу спадать, по станице разнеслись тревожные звуки походной трубы. Сбор! И задымила земля пылью под копытами сотен лошадей, закипела серыми клубами до верхушек конских каштанов. По седлам! Па-па-па-пам, пам... «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног».

Конная дивизия Южного фронта великой пролетарско-крестьянской революции имени Третьего Коминтерна двинулась на Энск.

Сев на ветку орешника, голубь пережидал, пока огромная, не машущая крыльями птица пролетит над тенистой рощей.

Так на одной ветке встретились два крылатых странника: голубь и мотылек. Встретились, чтобы, не заметив друг друга, взлететь в один и тот же миг, в одну и ту же сторону, и уже не расставаться до конца полета, намагниченные общей целью — городом на берегу реки; две стрелки, минутная и часовая, на одном циферблате.

Отдыхая от полета, голубь видел, как лазающий по деревьям дятел-желна опирается хвостом на ствол и роется клювом в коре; по стволу могучего дуба вниз головой ползла единственная птица, которая может ползать головой вниз — поползень; раздавался тонкий плачущий свист чечевицы: «Витю видел? Витю видел?»; слышался крик пересмешника, который передразнивал сразу и жаворонка, и кулика, и желтую трясогузку, и свист чечевицы, и крик пожирательницы полевок — пустельги.

Отдыхая на листе орешника, мотылек малой сатурнии цепко держался шестью лапками за лист и, сложив четыре серебристо-дымных крылышка, неподвижно внимал шелестящей жизни шестиногого царства. Равнодушный шорох жвал, поскрипывание жующих челюстей... — вся эта бесстрастная жвачка была так не похожа на верхний полуденный мир желтых трясогузок,



рыжеватых дергачей, белых турманов и пестрых овсянок.

Внизу из травы торчал липкий зеленый хлыст с мохнатыми малиновыми цветами — так называемый клейкий горицвет, или дрема, облепленный дочерна прилипшей мошкаррой. Рядом, над цветами золотой розги, дымился в воздухе рой слюдянистых мух-пестроножек, которых пронзила гроза букашних небес — стрекоза-коромысло. Она на лету перекусила одну «кисейную барышню», и ее смерти не заметил рой пестроножек, продолжающих свой хрупкий танец над султаном розги. Гибельная жатва — будни этого мира. Тишина стоит над полчищами прозрачных тлей. Неподвижна тишина над полем этого боя, лишь звонок голос цикад, которые поют свою сладкую нескончаемую песню. Боль вынута из мира насекомых, словно взрыватель из мины, и летающие существа могут безболезненно кромсать друг друга жвалами, челюстями, сосать хоботками.

Здесь не замечают урона. И все же мотылек малой сатурнии забивался подальше в спасительную тень листвы, стараясь не выдать себя ни единым шевелением крылышек, потому что хотя и не знал он, что такое боль, но чувствовал страх. Инстинкт продолжения рода заставлял его таиться в листве, чтобы лететь и лететь дальше, вперед к цели. Это стремление, этот порхающий полет — что могло остановить его?

Держась за медиальную жилку на обратной стороне листа орешника, мотылек хранил в глубине настолько мощную силу влечения, что ее можно было бы обозначить, например, на крупномасштабной карте того же пилота Винтера в виде прямой линии протяженностью не на одну версту. Конец этой прямой упирался бы прямо в стеклянную банку с марлевой крышечкой, которая стояла на подоконнике одного раскрытого окна на втором этаже дома в Николинском переулке, а в банке отчаянно билась о стенки пепельно-серая бабочка малая сатурния. (Подобные особенности мотыльков — не выдумка. О перелетах сатурний писал, например, знаменитый Анри Фабр в главе «Вечер Сатурний» своих энтомологических этюдов. Способность этих мотыльков находить самку за много километров — загадка для ученых.)

Самец малой сатурнии, или малый ночной павлиний глаз, названный так потому, что на его крылышках расположены четыре круглых глазка, похожих на радуж-

ные пятна павлиньего хвоста, живет на белом свете всего два-три дня. После рождения из куколки он ничем не питается, не пьет. Его единственная цель и предназначение — найти самку, продолжить жизнь рода.

Голубь и мотылек одновременно заметили сорокопута, который, виртуозно пролетая сквозь ветви и листья орешника в поисках пищи, заметил на изнанке листа пепельно-серую бабочку и метнулся к ней, вспугнув своим резким рывком Фитьку, который тут же взлетел и сам, в свою очередь, помешал сорокопуту. На миг дрогнув в полете, тот промахнулся.

Сорокопут — крючконосая птица немногим меньше дрозда; черная полоска на глазах сорокопута похожа на бархатную маскарадную полумаску, там, в ее тени притаились колючие глазки. Свои жертвы он обычно накалывает на шипы боярышника или акации, так сказать, про запас.

Заметив полет сорокопута, мотылек отчаянно упорхнул в куст бересклета, в чашу спасительных веток, но сорокопут устремился вдогонку и, вылетев из лесной тени на полянку, вдруг сам стал жертвой сразу двух птиц — молодых чеглоков, которые одновременно кинулись на сорокопута. Первый тут же отстал, зато второй стремительно нагонял сорокопута. Две черные точки в знойном небе над лесостепью в конце концов ринулись на землю, и мертвый сорокопут упал в траву к подножию клейкого горицвета...

Это столкновение двух птиц, пожалуй, было похоже на воздушный таран, когда нападающий аэроплан бьет сверху колесами шасси по верхней плоскости самолета противника, и тот стремительно падает на землю с перебитым крылом.

Только тогда, когда пара чеглоков скрылась из глаз, турман вылетел из тенистой рощи в огромные пустые пространства небосвода, залитого сиянием солнца.

И снова взмах, взмах, скольжение. Ток воздуха сквозь маховые перья. Ровный блеск винтовочной гильзы на правой птичьей лапке. Неподвижные громады белых туч, и земля внизу в зеленых пятнах лесов на желтом фоне степей.

Когда позади осталась большая часть пути, голубь наконец переплыл огромную дельту воздушной реки и выбрался на берег — в безветрие. Скорость полета сра-

зу возросла, но уже наступали августовские сумерки. Нырнув в густой теплый поток восходящего воздуха, турман резко набрал высоту, чтобы поймать хоть несколько минут до захода солнца, но тут же почувствовал усталость и, сложив крылья, стал полого пикировать вниз, к темнеющей земле, скользя грудью и рулевыми перьями хвоста по гладким воздушным холмам.

Солнце коснулось линии горизонта, и небесный купол сразу потемнел. Стремительно приближалась земля, покрытая густым лесом, и как только голубь спустился, сразу наступила ночь. Усевшись на ветку лещины, Фитька настороженно замер, косясь по сторонам. Он был слишком белым и беззащитным в этой черной утробе. Лес что-то глухо бормотал, потрескивал, как тлеющий костер.

Только сейчас Фитька понял, как устала его тяжелая правая лапка. Во время перелета ее приходилось то и дело поджимать, а она вновь отвисала, волочась по воздуху. По-своему Фитька знал, что цель его полета — в избавлении от этой тяжести, и в смутном сумраке птичьего разума ему мерещилась родная голубятня, где его коснутся руки хозяина — и тогда станет легко. И сейчас он сидел таким образом, чтобы его клювик смотрел точно в сторону голубятни в вишневом саду за рекой (справа от дома с черепичной крышей), а хвост касался незримой линии, ведущей прямо через лес и все оставшееся позади пространство к распаханной клетке на поленище березовых дров, во дворе штаба кавкорпуса.

Когда-то Фитька уже возвращался домой вдоль этой незримой стрелы, и ему было знакомо тревожно-сосущее чувство строго направленного полета: лететь только прямо, не сбиваясь ни на йоту с курса. И он летел, перепатый рядовой гражданской войны.

«Ци... ци!» — раздалось в ночи. Турман наклонил голову и заметил слева среди крохотных кустиков блеск лужицы в небольшой ложбинке. Жажда была сильнее страха, и голубь слетел к воде. Здесь из земли выбивался на поверхность слабый родничок и, петляя, утопал в лесной траве. Погрузив глубоко, по самые глаза, пересохший от жажды клюв в воду, голубь пил, как умеют пить голуби и еще очень немногие птицы — не запрокидывая головы.

«Ци! ци... хрр!» — вновь раздалось тонкое циканье. Голубь увидел совсем близко от себя парочку лес-



ных куликов. Вальдшнепы брели вдоль водяной жилки и то и дело тюкали клювами в землю.

«Кьяуу! Кьяуу!» — грозно пронеслось над лесом.

Кулики пугливыми комочками прижались к земле. Голубь оторвался от воды и тоже замер: он был так ослепительно белоснежен здесь, в царстве ночи, так заметен... Но крик со стороны опушки не повторился.

«Ци... ци!» — удалялись кулики.

Вдруг зеркальце воды у голубиных лапок словно вспыхнуло. Турман резко взлетел, прежде чем понял, что на лужицу родниковой воды упал свет луны. Восходящая луна подохла холодным бенгальским огнем кроны деревьев, чиркнула серебром по кончикам веток, залила зеленоватым фосфором поляны. В старой липе осветилось дупло. Оно и притягивало голубя возможностью надежней укрыться, и пугало черной, разинутой в зевке пастью.

Пересилив страх, Фитька тихо влетел в темную пещерку и опустился на трухлявое дно. Дупло оказалось неглубоким и, вытянув шею, турман мог выглянуть за краешек в ночь. И все же здесь было спокойней, можно было перевести дыхание и закрыть глаза.

«Кувык... кувык...» — вдруг услышал Фитька над головой. Он встрепнулся. Дупло усиливало лесные звуки. Сначала голубь услышал, как заструилось из-под старых корней гибкое тело гадюки. Затем он отчетливо услышал, как прогнулась ветка липы под тяжестью бесшумно усевшейся птицы. Его сердце вновь отчаянно застучало. Но птица сидела неподвижно, без звука, пока вдруг не взлетела и не понеслась с криком мимо дупла.

Это был козодой.

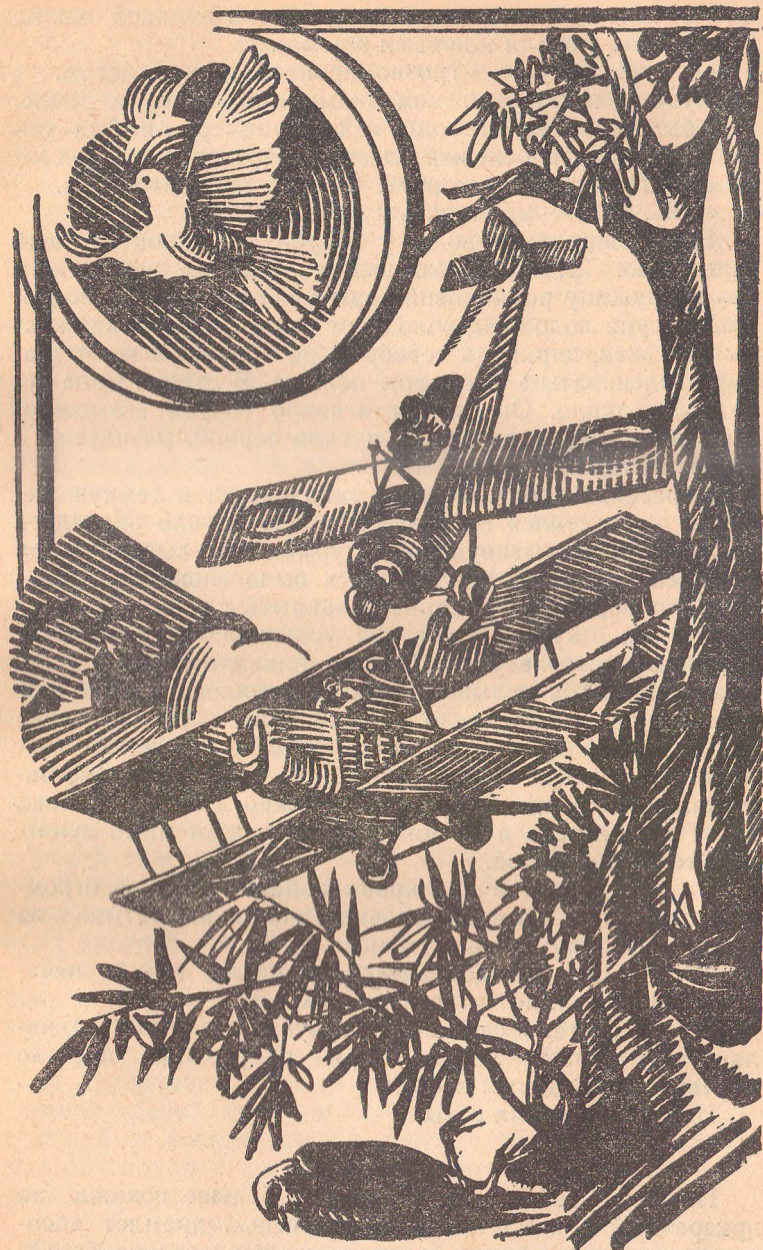
Он летел, петляя над краем поляны, разинув огромный рот. Этим ртом он, словно сачком, выхватывал из теплого воздуха ночных букашек.

Когда крик козодоя затерялся вдали, голубь ненадолго задремал, но чутко и тревожно.

В дупле стало светлей. Это луна еще выше поднялась над ночным лесом, озаряя полусонное царство мертвым прохладным светом.

Наступило время совы.

Ночь при свете луны стала еще больше похожа на призрачный сон на полуявь, полусень... дремлет вполглаза нездешняя черно-белая птица в клетке на балко-





не гостиницы «Отдых Меркурия»... летит к Энску ночной мотылек в мягком потоке попутного ветра... скачет во весь опор к лесу Сашка-Соловей на верном белом коне... сияет голубая пролетарская звезда Сириус над полем, по которому идет походным маршем кавалерийская дивизия. Ворочается на бильярдном столе в подвале контрразведки бессонный арестант, смотрит, как наливается в свете луны, становится все черней силуэт решетки на паркетном полу... постанывает в своей постели от беспокойного сна Алексей Петрович Муравьев... звездная ночь обнимает людей, птиц и зверей прозрачными лунными руками, колдует над спящим городом, в котором светится, пожалуй, только одно окно. Это в гостиной артиста Галецкого на четвертом этаже дома по Архиерейской улице стоят сейчас посреди комнаты два итальянца и не знают, с чего начать свои розыски... Кругом видны следы поспешного обыска: раскрытый секретер, груда бумаг на обеденном столе, закатанный до половины ковер, распахнутый настежь книжный шкаф, опрокинутые стулья...

Ринальто снова выразительно посмотрел на Умберто: мол, поиски бесполезны. Тот упрямо молчал, хотя обыск до них был сделан грубо и топорно, все же у Бузонни тоскливо сжалось сердце — в гостиной не было ни одного драгоценного иллюзионного аппарата! Во всяком случае, на виду не было ни одного предмета, говорящего о профессии постояльца. Расспрашивая полчаса назад подвыпившую мадам Ольгу Леонардовну Трапс, Умберто узнал, что Галецкий приехал в Энск полгода назад вместе с красивой женщиной-иностранкой, которая ни слова не понимала по-русски и лицо которой мадам Трапс не смогла разглядеть из-за густой вуальки. С ними не было никакого багажа, если не считать одного чемодана, и хозяйка даже подумывала отказать в квартире, но Галецкий, раскусив, в чем дело, сказал, что багаж их прибудет поездом, и действительно, однажды вечером с вокзала к дому подъехали сразу две повозки, набитые чемоданами, коробками, пакетами, тяжелыми ящиками. (Бузонни и Ринальто в этот момент переглянулись — конечно же, в них была иллюзионная аппаратура. Какой скрипач ездит без скрипки!) Обилие багажа говорило о том, что клиент был человек состоятельный, и у Трапс отлегло от сердца. К тому же на последний, четвертый, этаж не так легко найти желающих.

И вот сейчас, стоя посередине перевернутой вверх



дном гостиной, Бузонни не видел ни одного намека на иллюзионные автоматы и удивительные электрические и магнитные приборы, стоящие бешеных денег и готовые снова и снова приносить владельцу чистую прибыль. А ведь в журнальчике «Театр и варьете» писалось по поводу сенсационного выступления Галецкого, что в его программе используется до 100 аппаратов. Бузонни верил в ловкость рук, сам смог убедиться в виртуозности Галецкого, но озолотить могла только уникальная аппаратура, а перед техникой Умберто преклонялся. Второе отделение программы Галецкого было целиком построено на удивительных автоматах.

Встав на колени, Ринальто закатал ковер до конца и принялся методично простукивать пол в поисках тайника, а Бузонни упрямо осмотрел шкаф, перевернули и прощупал пальцами обивку ореховых кресел, обтянутых старым рытым бархатом; заглянул за картину «Купающаяся венецианка», увидел пыль и паутину; заглянул за олеографию с популярной картины господина Соломко «Гнусность» — опять пыль и паутина. Особенно тщательно осмотрел булевский секретер. Умберто помнил, что в программе Галецкого было использовано несколько технических новинок: шарик, меняющий цвета по желанию публики, магическая колода, вырастающий кубик — каждое из этих изобретений могло вполне уместиться в любом из ящиков секретера, в тайнике за стенкой, между книг на книжной полке, и каждое могло либо озолотить, либо раскрыть свой секрет... в одном из отделений Бузонни нашел книгу клишника Гарри Гудини, изданную в Нью-Йорке в 1908 году (кажется, с дарственной надписью самого Гудини, Умберто не стал разглядывать).

В это время Ринальто возбужденно зацокал языком, обнаружив пустоту под одной из плиток паркета. Бузонни тяжело плюхнулся рядом на колени, выхватил из рук племянника перочинный ножик и сам поддел подозрительную плитку, она легко отошла, открыв глазам небольшое углубление, в котором лежал аккуратный сверток вощенной бумаги. Жадно разодрав бумагу, Умберто увидел красивый серебряный эфес от шпаги, но, рассмотрев получше, понял, что ошибся — это была не рукоять, а сама складная трюковая шпага, с лезвием шириной в дюйм. От удара такой шпагой не остается никаких ран, потому что острие молниеносно уходит в ручку.

Они взяли верный след! Но, увы, больше ни одна паркетная плитка не подала знака. Бузонни с Ринальто простучали пол не только под ковром, они сдвинули секретер, софу, простучали затем стены гостиной — никакого результата.

Вывалив содержимое двух ящиков ломберного стола, Бузонни цепко выбрал из хлама три вещицы: английскую вечную ручку с настоящим золотым пером «Золотой фонтан» фирмы Дуглас Слунс, замшевый кошелек для часов и нераспечатанную колоду из тридцати двух карт. Выдернув одну, Умберто посмотрел сквозь карту на свет электрической лампы и убедился в том, что колода специальная. Между лицевой стороной карты и рубашкой не было необходимой черной прокладки, и фигура бубнового валета слегка просвечивала. Кроме того, рисунок рубашки имел еле заметное для глаз различие, что давало возможность узнавать масть и достоинство карты, не переворачивая ее лицом.

Подождав, когда Умберто отошел к голландской печи и, открыв вьюшку, стал изучать темноту, Ринальто тоже порылся в куче вещичек и рассовал по карманам: прелестные карманные часы из настоящей черной вороненой стали с анкерным ходом, заграничное кожаное портмоне с шестью отделениями и механическим замком парижской выделки, зажигалку в виде карманного пистолета и каучуковый штампель.

С полочки секретера на Бузонни хмуро глядело лицо моложавого усатого господина. Не разглядев, но уже зная, кто запечатлен на фотографии, Умберто все же не удержался и протянул за ней руку. Встретившись с презрительно-холодным взглядом Галецкого, Бузонни пробормотал одно любимое ругательство, но даже оно не защитило Бузонни от пугливого укола в сердце.

...Выпустив вчера утром из клетки полуголодную гарпию, Бузонни еще раз горячо проклял в душе штабс-капитана и отправился в город на деловое свидание с владельцем единственного уцелевшего в Энске синематографа «Арс» Венедиктом Волокидиным. В голове Бузонни, несмотря на сокрушительные неудачи последнего времени, вновь вертелась идея очередного выгодного дельца, на котором (при участии искусства синематографа) можно было погреть руки. Несколько дней назад вдвоем с Волокидиным Умберто обговорил все

пошлости совместной антрепризы, набросал текст рекламной афишки для простофиль (благодаря которой и угодил в лапы штабс-капитана Муравьева), посмотрел скудный репертуар «Арса».

У Венедикта Волокидина в синематографе уже полгода показывалось только пять фильмовых лент: «Страшная месть горбуна К», «Клуб самоубийц», «Видение курильщика опиума», «Когда женщины ищут приключения» и «Убийство герцога Гиза». Не густо! Но у Бузонни имелось три новые иностранные фильмы: «Мировая красавица Франческа Бертини в лапах развратника», «Во власти гипнотизера» и «Нерон, пробующий яды на своих рабах». Они обговорили взаимные условия проката и ударили по рукам.

На следующий день, вечером, Умберто получил записку о том, что Волокидину удалось заполучить еще одну фильму: «Лишенный солнца» русской фирмы Тимана и Рейнгарта.

Утром он пошел в «Арс».

В зале была кое-какая публика. Умберто сел на второй ряд и невольно притянулся взглядом к щеголеватому зрителю, одиноко сидящему наискосок от него на первом ряду. Незнакомец сидел в непринужденной позе, закинув ногу на ногу, но, почувствовав пристальный взгляд Бузонни, заерзал на сиденье, а затем недовольно и даже зло покосился в его сторону. Умберто увидел птичий профиль, сверкающие гневные глаза, мефистофелевскую бородку и узнал его сразу, почти мгновенно, несмотря на то, что не видел артиста с августа 1913 года. В двух шагах от него сидел человек, которого Бузонни запомнил на всю жизнь, — Галецкий!

Свет в зале погас, заиграл тапер, и над головами зрителей задымил волшебный луч из задней стены:

«...Постоянный посетитель всех великосветских вечеров, блестящий молодой журналист Владимир Горский полюбил дочь разорившегося помещика Эвелину. Красавица соглашается стать женой Владимира, но только тогда, когда он станет богатым, и мысль о богатстве всецело овладевает молодым человеком. Однажды на званом вечере у миллионера Патоцкого среди приглашенных возникает спор о том, что ужаснее — смерть или одиночное заключение, и хозяин, утверждая, что смертная казнь легче одиночного заключения, предлагает 500 000 рублей тому, кто выдержит полное одиночное заключение в течение года. Владимир Горский принимает безумное пари, и вся компания отправляется по коридору миллионера к темной комнате, которая должна служить местом заключения Владимира и все убранство которой состоит из кровати, стола и стула. На одной из стен установлен электрический звонок, соединенный с



регистратором. Если заключенный захочет освободиться, ему стоит только нажать кнопку, и он на воле, но тогда пари проиграно, если даже это произойдет за минуту до срока. Проходит год...

Умберто никак не мог сосредоточиться на событиях фильма. Мысль о том, что перед ним сам его величество иллюзий — Галецкий, взорвалась в голове антрепренера заманчивой идеей пригласить и его в качестве компаньона в антрепризу с Волокидиным. Конечно, Бузонни понимал, что Галецкий — звезда экстра-класса и что они ему не партнеры, но советская революция и русская война наверняка сделали его более сговорчивым. А какой успех в случае удачи!

«А если это не он? Неужели я ошибся?» — мучился Умберто, с нетерпением ожидая конца фильма.

«...Проходит год. Наступает день розыгрыша пари. Перед домом Патоцкого толпятся корреспонденты, чтобы узнать о результатах спора. Владимир Горский, осунувшийся, похудевший, полубезумный, напрягает всю силу, чтобы не позвонить в последний момент, и наконец, чтобы избавиться от искушения, перерезает провода. Почти в тот же момент в комнату узника, крадучись как вор, входит Патоцкий. Истекший год пошатнул дела миллионера, и если сегодня ему придется уплатить проигранное пари Владимиру Горскому, он разорен. С безумной мольбой Патоцкий обращается к пленнику: «Я разорен. Все приглашенные собрались у регистратора. Вы должны позвонить, чтобы спасти меня». С торжествующим хохотом Владимир отказывается. Патоцкий, не видя иного выхода, убивает пленника и звонит, не замечая того, что провода перерезаны. Затем, вернувшись к приглашенным, он сообщает, что выиграл пари, так как слышал звонок, но гости молча указывают на регистратора, который ничего не отметил. Все гости с веселой, жизнерадостной Эвелиной отправляются в комнату Владимира и находят там труп несчастного. Как подкошенный цветок падает Эвелина на тело своего жениха. Патоцкий пытается уверить, что Владимир Горский покончил жизнь самоубийством, но кровавое пятно на рубашке выдает убийцу, и Патоцкий, видя, что все потеряно, выхватывает револьвер и стреляется».

(Конечно же, Умберто и не догадывался, что ему показывают опошленную, искаленную киноверсию рассказа А. П. Чехова «Пари».)

В зале зажегся чахлый свет. Словно что-то предчувствуя, зритель с первого ряда (Галецкий?) поспешно прошел первым к выходу из зала, отдернул портьеру, за которой была дверь, откинул железный крюк и вышел на солнце. Бузонни ринулся за ним, расталкивая локтями немногочисленных зрителей.

Преследуемый уже перебежал улицу к частной пекарне Куликова. Бузонни бросился вдогонку...

— Э, господин... господин Галецкий!

Галецкий резко оглянулся. Наткнувшись на его холодный взгляд, Умберто невольно поправил канотье и втянул живот.

— Простите, если я не ошибся, вы Галецкий?

— Я — Галецкий, — раздраженно удивился тот. — Ну и что?

— Я вас сразу узнал. Я был на вашем, о, просто великолепном выступлении очень давно, о! В Санкт-Петербурге. Это было блестяще. E meraviglioso! (Великолепно! — *итал.*)

— Допустим, вы не ошиблись, — перебил Галецкий, — что вам угодно?

— У меня есть деловое предложение. Но, конечно, не на улице. Два слова в ресторане при гостинице. Утром была замечательная севрюжка в клярѣ. Я угощаю.

— Ни за что! Прощайте. — Галецкий повернулся, и тогда Бузонни, не собираясь легко сдаваться, просто грубо схватил его за плечо.

— С кем имею честь?! — взорвался Галецкий.

На нем был английский полувоенного кроя френч с галифе, в руке короткий стек, на ногах ботинки на толстой каучуковой подошве.

— О, простите, — Бузонни вновь поправил канотье, — я не представился, известный итальянский артист, антрепренер, гастролер по несчастной России Умберто Бузонни. Мой менажерий «Колизей» объехал весь мир.

Бузонни перевел дыхание. Галецкий скептически молчал.

— Я предлагаю вам совместную антрепризу. Нас будет трое, но, учитывая ваш талант, господин Галецкий, предлагаю половинную долю. «Гафанаф!»... Иллюзионная аппаратура с вами?

— Я тоже хорошо запомнил вас, мистер Бузонни, — ответил Галецкий, — вы сидели в третьем ряду на седьмом представлении в «Модерне» 12 августа 1913 года. В первом отделении вы не вернули на поднос реkvизитный бокал, а во втором пытались украсть у ассистентки шарик, меняющий цвета по просьбе зрителей.

— О, — сделал смущенную гримасу Бузонни, — я был моложе, глупее. Но мы же артисты!

— Так вот, — спокойно продолжал Галецкий и, переходя на ломаный итальянский, даже взял Умберто за сюртук, — я не выступаю уже шесть лет, и я не же-

лаю иметь с вами никаких делишек, мистер зверинец. Мое искусство не для макак.

Услышав родную речь, Бузонни опешил.

— Вы ошибаетесь, с вами у меня ничего общего. — Галецкий с насмешливой и брезгливой улыбкой хлопнул Бузонни по плечу, как бы возвращая грубое прикосновение, и вытащил из его сюртучного нагрудного кармашка проклятый стеклянный шарик, меняющий по желанию цвета. Он покатал его на ладони. Шарик переливался всеми цветами радуги.

— Кара фаре вот маршаре, — с издевкой сказал Галецкий, чуть наклонил ладонь, шарик скатился вниз и разбился о булыжник вдребезги. Бузонни судорожно глотнул.

— Peccato! (Как жаль! — *итал.*) И не преследуй меня больше, дурак!

Кровь хлынула Умберто в лицо. Ярость с южной страстью затопила мозг. На миг ему стало дурно от гнева.

— Порка мизерия! Салопард... суайн... — бормотал Умберто, выпучив глаза, с багровыми пятнами на щеках. (Проклятье. Негодяй — *смесь.*) Глядя вслед уходящему Галецкому, он был готов убить его, растерзать, растоптать. Он чуть не заорал первое, что пришло в голову: «Вор, вор! Держите вора!» Но улица была пуста.

Ярость клубилась в голове.

Бузонни сделал несколько машинальных шагов за Галецким, но тот вдруг исчез в подъезде четырехэтажного дома.

*«Меблированные комнаты и квартиры О. Транс. Сдаются внаем на любые сроки. Цены умеренные»*, — прочитал Бузонни у входа, и тут его осенила одна злая мысль. Она сразу помогла взять себя в руки. Она заставила его шагать быстрым шагом. «Вы еще пожалеете, месье!»

Не заходя к Волокидину, антрепренер вернулся в гостиницу и обсудил свою идею с Ринальто. Племянник считал, что ради такой добычи, как уникальная иллюзионная аппаратура, с этим паршивцем Галецким нечего церемониться. А упустить такой шанс здесь, в России, когда порядок полетел кувырком, — глупость непростительная... Он же и написал под диктовку Умберто подметное письмо на имя штабс-капитана контрразведки.



В письме было 16 орфографических и 32 синтаксические ошибки, но подействовало оно безотказно.

Когда напольные часы с репетицией тревожно и зловеще пробили двенадцать ночи, измотанные бесплезным поиском тайника с иллюзионной механикой Умберто с Ринальто прошли на кухню. Оба молчали и злились друг на друга. За два часа они тщательно осмотрели все четыре комнаты квартиранта: гостиную, спальню, кабинет, комнатку для прислуги, простучали все стены и полы, проверили три изразцовые голландские печи, перевернули вверх дном кладовку, обшарили ванную комнату, заглянули в туалет. В итоге: ни-че-го, если не считать фальшивого пальца, который обнаружил Бузонни на ломберном столике... С его помощью можно прятать «в руке» тонкие шелковые платки. Палец-футляр сделан из целлулоида, зажимается во время фокуса между безымянным и указательным пальцами. Энергичные пассы не позволяют зрителям разглядеть, что у фокусника на одной из рук не пять пальцев, а целых шесть... Еще Ринальто пошел под кроватью сачок с секретом. Сачок из толстой бамбуковой палки. При взмахе из верхней части сквозь специальное отверстие в сачок выскакивает складная имитация белого голубка. Издали при известном освещении птица вполне могла сойти за настоящую.

Умберто был в отчаянии. Он всегда мечтал обеспечить себя и свое семейство на всю жизнь и, когда судьба делала очередной «фликфляк» (кульбит), он наливался тоской.

На кухне Ринальто достал предусмотрительно прихваченную с собой водку в солдатской фляжке, обтянутой сукном. Умберто рухнул на стул, выложил папиросы. Ринальто порывлся в кухонном шкапчике, достал фарфоровую масленку с крышкой в виде букета роз, затем кусочек копченого шпика, понюхал его, последними на столе оказались вилки, хлеб и пилка-фраже. В два винных стаканчика Ринальто разлил водку, Бузонни молча высосал жидкость, размолотил зубами черствый хлеб с нежным шматком сала и уставился в окно.

Из окна кухни открывался ночной вид на запущенный чахлый садик за домом. Садик прижимался к невысокому кирпичному брандмауэру, за которым стоял

двухэтажный деревянный дом с разбитым чердачным окошком. На втором этаже уютно виднелась в темноте комнатка, освещенная тусклым светом стоящей на подоконнике трехлинейной лампы с пузатым стеклом. В глубине просторной комнаты были видны двое: молодой человек и дамочка. Дамочка курила, покачиваясь в кресле-качалке, а молодой человек, стоя у окна, что-то говорил, энергично размахивая рукой. Взгляд Бужонни устало проник внутрь комнаты, остановился на приоткрытой чугунной заслонке в кафельной башне голландской печи, затем вновь вернулся к подоконнику, на котором рядом с лампой зеленела дамская фетровая шляпа с низкой тульей, узкими полями, отделанная бумажными цветами и бархатной лентой, а чуть поодаль стояла стеклянная банка с марлевой крышечкой — Бужонни померещилось там какое-то порхание. Он бесцельно вгляделся и даже различил равнодушно, что в банке белым лоскутком порхает пойманная бабочка. У него было острое зрение. Но что ему Гекуба? Какое дело пятидесятилетнему владельцу передвижного менажерия до какого-то пленного насекомого, тем более сейчас, когда все его мысли истощены бесцельными поисками бесценной аппаратуры проклятого иллюзиониста.

А между тем именно в эту самую банку с марлевой крышкой упирается острое той незримой стрелы, вдоль которой и сейчас летит в ночной темноте, через воздушные перевалы отважная кроха — мотылек малой сатурнии. Он порхает невысоко над землей, над пучиной травы и волнами кустов, а высоко-высоко над ним и над спящей твердью горят в небесах яркие созвездия. Скачет между Андромедой и Рыбой крылатый конь Пегас, вьется созвездие Гидры, горит одно из самых крохотных созвездий — Треугольник, очертания которого напоминают крылышко бабочки.

Небо ли отражает земное кипение жизни?

Земля ли повторяет снова и снова очертания вечного неба?

Пленница из семейства сатурний, малый ночной павлиний глаз, была поймана молодым дезертиром из белой армии, бывшим студентом Киевского университета, энтомологом-любителем Аполлоном Чехониным за три дня до описываемых событий в окрестностях Энска. Поймана ночью на свет электрического фонаря с эдисо-

новым аккумулятором. В этой безрассудной вылазке дерзтирствующего студента был сознательный вызов всем смертельным событиям того времени; сейчас в занятиях столь пустяковым делом, как ловля бабочек, Аполлону виделся некий вызов обстоятельствам, и, стоя в данную минуту у ночного приоткрытого окна под взглядом Бунзони, Аполлон Чехонин с жаром говорил своей возлюбленной Катеньке Гончаровой о том, что жизни придает смысл дерзкий вызов обстоятельствам, что война бессмысленна, потому что у нее нет чувства юмора, и т. д. и т. п.

— Давайте чай пить, — перебила его Катенька. В такие минуты Аполлонового красноречия ей было смертельно скучно, а кроме того, Аполлон не выносил табачного дыма и то и дело энергически разгонял дымки от ее папироски рукой, а это махание Катеньке не нравилось.

— Перестаньте махать рукой, Аполлон Григорьевич, — капризно заметила она, — дым — не мухи. У меня голова кружится.

— Ах, милая Катенька, — продолжал между тем Чехонин, разжигая примус на кухонном столике в углу комнаты и звякая медным чайником, — бросьте курить, ей-богу, бросьте! У русских людей слабые легкие. Туберкулез стал нашей национальной чертой, Катенька. А цвет лица? Подумайте о нем! А зубки-то пожелтеют...

— Оставьте, Аполлон, оставьте, — с раздраженным видом возразила Катенька, — я и без вас решила бросить ко дню ангела. Вот увидите!

И она затянулась поглубже догорающей папироской. Катеньке самой было непонятно ее капризное настроение, то казалось, что близок конец их неверному счастью, то виделась чья-то кончина.

— Жаль, что вы не бываете на улице, — добавила она, пытаясь найти более интересную тему, — видели бы вы, какой страх летает над городом. Всех птиц распугал. Васса Сысоевна принесла на часок бинокль одного пехотного офицера, и мы по очереди любовались этим монстром. В жизни не видела такой жути. Клюв крючком, а цвет клюва такой голубой. Брюхо белое, а на горле — черная полоса, как траур. Глаза блестящие, как вот эта пуговица. Прямо мороз по коже. Мы глядели с балкона, так он подлетел и так глянул, что я обомлела. Фу, гадость! Они ведь только пададь высматривают, да, Аполлон?



— Ах, милая Катерина, — отвечал Чехонин, кроша щипцами куски колотого сахара в тарелочку, — если бы вы посмотрели в цейсовский микроскоп хотя бы вон на ту прелестную бабочку — сатурницу, то, ручаюсь, вы б тоже обомлели. Это самая преадская рожа! Представьте себе, дорогая, вот здесь два огромных глазища. Больших, как яблоки, а вот здесь, на лбу, еще три глаза, правда, поменьше. Вместо рта этакий слоновый хобот, им она пьет цветочный нектар. А над головой торчат два усика-султана, как мохнатые рога. Страшно?.. А между тем для бабочек это лицо так же прекрасно, как для нас Вера Холодная или Франческа Бертини... и кто-то наверняка — вы меня слушаете, Катенька?

Катенька отделалась гримасой.

— В мире все относительно. И все же красота — реальность. Какой-нибудь мотылек влюблен в нее и жаждет поцелуя... Каюсь, есть нечто притягательное в этом дьявольском обличье. Я с детства тащил к глазам всякую дрянь. Ловил жучков, брал в руки волосатых гусениц...

— Как вы можете хвастаться этим?

— Я это к тому объясняю вам, — обиделся Чехонин, — что не стоит с вашими расстроенными нервами смотреть вокруг через увеличительные стекла. Зачем такому нежному существу, как вы, видеть мир таким, каков он есть? Ведь быть счастливым и ничего не видеть — это одно и то же.

— Опять вы философствуете, Аполлон, — взвилась Катенька с кресла, — мне и так скучно с вами!

Она поспешно отошла к окну и упрямо замолчала, глядя сквозь двойные стекла на ночной дворик с чахлыми деревцами.

Здесь Катенька почувствовала напряженными нервами чей-то посторонний взгляд и заметила в слабо освещенном окне в доме напротив силуэт мужчины.

— На нас смотрят, — шепнула она и задернула портьеру.

...В тот момент, когда Катенька Гончарова, спохватившись, задернула портьеру, Умберто Бузонни перевел свой отупевший взгляд вверх, на чердачное окошко, и вдруг, вскочив, заорал:

— Чердак, Ринальто! Чердак, черт возьми!

Ринальто понял с полуслова. Они бросились на лест-

ничную клетку, но, удивительно, люка здесь не было. Умберто растерялся, но теперь уже Ринальто горячо воскликнул:

— Лестница, Умберто! Лестница в кладовке!

Действительно, в кладовке хозяина стояла на первый взгляд ненужная лестница.

Волнуясь от предчувствия удачи, они вернулись в квартиру и стали тщательным образом осматривать потолки, сначала в прихожей, затем в гостиной, затем в спальне, затем в комнатухе прислуги, затем — стоп!.. в кабинете Галецкого стены и потолок (?) были обтянуты цветастой тафтой. Кабинет был похож на нутро волшебной табакерки. Еще два часа назад Бузонни смутно удивился этой причуде хозяина. Сейчас Умберто заинтересовал угол потолка в кабинете сразу же за дверью. На первый взгляд он ничем не выделялся от прочего пространства, но раскаленный взгляд Бузонни зацепился за крохотную деталь: одна из розочек на тафте была словно бы разрезана на две части, и нижняя половинка цветка чуть-чуть выдавалась за линию стыка с верхней половиной. Подозрительная розочка могла означать микроскопический зазор между потолком и краем тщательно пригнанного и замаскированного люка.

Ринальто принес лестницу из кладовки. Ее ступени под тяжестью Бузонни предательски заскрипели. Поднявшись к потолку, он уперся сначала руками, а затем плечом в предполагаемый люк. Нажал. Потолок не поддавался. Бузонни поднатужился и почувствовал, что под его напором часть потолка — квадрат — чуть поддалась. По розочкам тафты пробежала заметная трещина. Люк! Бузонни наддал сильнее. Раздался оглушительный треск, звон лопнувшей пружины, трещина превратилась в широкую щель, откуда потянуло спертым воздухом. Волосы на голове Умберто зашевелились и, побагровев от напряжения, он открыл люк на чердак.

— Salite! (Поднимайтесь — *итал.*).

Поднявшись, они оказались в почти кромешной темноте, которую не мог рассеять слабый свет луны, сочившийся сквозь грязное чердачное окошко над их головами. Электрический фонарик в руках Ринальто почему-то погас, и когда он снова включил его, оба они испуганно вздрогнули. Нет, это был не чердак, а какая-то просторная местность с чахлыми деревцами вдали. Луч фонаря рассеялся в пространстве, не встретив преграды. Стало

слышно, как что-то прокатилось с тихим стеклянным позвякиванием во мраке по железу и вдруг стихло. Бузонни напряг зрение. Нет, перед ними все же была не местность, а замкнутое пространство, некий удивительно огромный, размером чуть ли не с городскую площадь чердак. Шлак под ногами, затхлый запах стоячего воздуха, отсутствие неба, ощущение пусть и просторной, но все же тесноты — все это подтверждало правильность его чувств. Пересилив страх, со спазмой в пересохшем горле Умберто шагнул к ближайшему предмету и протянул руку. Ладонь сначала нащупала, а затем узнала вертикально висящую веревку, а глаз различил, что ее верхний конец уходит в поднебесье. Бузонни осторожно потянул вниз. В вышине что-то ржаво скрипнуло, со скрежетом распахнулось и высоко над ними с мягким шорохом отдергиваемой шторы покатылся во мгле засветившийся матовый шар, чуть больше бильярдного. Шар озарил мертвым скупым сиянием пространство вокруг, и глаза напуганных зрителей разглядели далеко впереди очертания предмета, похожего на мраморную чашу фонтана, а еще дальше — льдистый блеск чего-то схожего с поверхностью спокойного ночного моря и анфиладу лестниц-стремянок на берегу. По мере того как матовый шар пересекал слева направо глухой небосвод, вдали оживали, потом стихали странные пугающие звуки пилы, перепиливающей фанеру, тихий стук молотка по шляпке гвоздя, человеческий шепот, еле слышимый крик зверя в чаще. Не выдержав, Ринальто попятился к спасительному люку и споткнулся о квадратный ящик. словно от удара его ботинка, светящийся шар в вышине погас, но темнее не стало, наоборот, в пространстве остался след его слабого сияния. Сердца Бузонни и Ринальто бились отчаянными толчками, казалось, они перенеслись в парижский кабинет восковых фигур Гревен, где внезапно погас свет и где изображены в лицах и позах преступления маркиза де Сада, Ивана Грозного и Джека-потрошителя, и где среди восковых истуканов с искусственными глазами затаился, прикинувшись мертвым, настоящий убийца... До них долетел неясный женский смех, а затем впереди качнулась фигура в черном и сверкнула в глаза электрическим фонариком.

— Что это? — вскрикнул Ринальто.

— *Saranno gli specchi.* (Зеркала — *итал.*), — ответил Бузонни. Он первым пришел в себя. С фанатиз-



мом прагматика-антрепренера он тяжело пошел на фигуру и, сделав около десяти шагов, действительно уперся руками в огромное, косо стоящее зеркало, в котором разглядел свое мутное отражение. Только тут Бузонни смог перевести дыхание и громко выругаться.

Ловушка из зеркал! В этом был весь Галецкий, с его страстью к эффектам.

Громкая ругань привела Ринальто в чувство, и, осветив по сторонам, он заметил еще одно зеркало, укрепленное на скате чердачной крыши, именно оно создавало горний (потусторонний) эффект бездны над головой. Страх окончательно отпустил сердце Ринальто и, вернувшись к квадратному ящичку, он поднял откидную деревянную крышку. В ящике оказалась обыкновенная земля, и Ринальто хотел уже было опустить крышку на место, но помешал изумленный окрик Бузонни.

В ящичке с землей Умберто узнал не что иное, как знаменитый автомат кавалера Пинетти, усовершенствованный затем Робертом Уденом, — «Апельсиновое дерево».

Склонившись над ним, Бузонни нащупал в боковом пазу ящичка ключ и завел бесшумный механизм. Из ящичка раздалась механическая музыка. И они увидели чудо... Под действием поршневого насоса из земли силой сжатого воздуха был вытолкнут металлический росток — крашенная бледно-зеленая трубочка, вставленная одна в другую. Когда росток вырос на высоту человеческого пояса, из центрального полого ствола стали медленно выталкиваться бронзовые веточки с крохотными воронками, похожими издали на набухшие почки. Продолжая расти на глазах, деревце выпустило из почек узкие листья, сшитые из тончайшего плотного шелка, и крохотные шелковые шарики апельсиновой завязи. Наполняясь воздухом, шары-мешочки постепенно разглаживали свои складочки и таким образом увеличились до размеров натуральных плодов. Искусно окрашенная пупырчатая блестящая ткань удивительно точно передавала фактуру, цвет и матовое мерцание свежего спелого апельсина.

Когда завод кончился и стихла музыка, перед зрителями трепетало и шелестело листвою и плодами на слабом сквозняке апельсинового деревца. Ринальто боязливо коснулся пальцами апельсина, чтобы убедиться в том, что он не настоящий.

— Цыц! — бросил Бузонни и ударил племянника по руке.

С улицы внезапно донеслось гроыхание лошадиных подков и стук колес пролетки по булыжнику.

Ближе.

Совсем рядом.

Умберто поспешно прошел к чердачному оконцу и, взобравшись по приставной лесенке, открыл створки. Крыша сияла ртутными лужами лунного света. Скосив голову и вытянув шею — ему мешал край крыши, — Умберто разглядел внизу, на пустой мостовой, открытое ландо с офицером и двух верховых казаков с винтовками за плечами. И офицер, и возница, и казаки молчали, только звук лошадиных подков разносился над улицей. В прифронтном городе звук подков ночью всегда тревожен — это едет смерть.

Громкий вскрик отбросил Бузонни от окна, он оглянулся. Истошным, страшным голосом кричал Ринальто.

Перед ним стояла женщина в густой вуальке и в маркизетовом платье с оборками. Ринальто светил ей в лицо включенным фонариком. Женщина как-то странно двигала руками. Спрыгнув на шлак, Умберто увидел, что незнакомка стоит ногами в длинном ящике, похожем на гроб, по щиколотки в стружке. Ринальто выронил фонарик из рук и стал оседать. Бузонни успел подхватить его и зажать рот вспотевшей от страха ладонью. Крик могли услышать на улице... а незнакомки он не боялся. С первого же взгляда Умберто стало ясно, что это механический автомат Галецкого. Ринальто отчаянно бился в его тисках, с ужасом глядя, как женщина поднимает руки в белых до локтей перчатках к лицу, закрытому вуалькой.

...Услышав глухой, неотчетливый вскрик, Алексей Петрович приказал остановиться и оглянулся на темный дом. Дом стоял, погруженный в темноту.

Луна, как лимонный китайский фонарик.

Ее лаковый свет превратил и дом, и деревья вдоль Архиерейской, и давно потухшие фонари в плоские силуэты из черной плотной бумаги для театра теней.

— Вроде кричали? — сказал Муравьев.

— Так точно, кричали, — равнодушно подтвердил казак справа и ткнул нагайкой в сторону дома.

— Трошки було, — сонно буркнул казак слева. — Побачимо?

Штабс-капитан молчал, пытаясь прочесть неразборчивую вывеску у парадного подъезда.

Крик больше не повторялся.

Энск затонул в толще лунного света, не прифронтной город, а молчаливые античные руины на морском дне. Устало откинувшись на мягкую спинку ландо, набитую конским волосом, Муравьев вяло приказал трогать. Он все еще надеялся уснуть через полчаса в своем 24-м номере крепким сном, и снова сонно завертели колеса и, баюкая, застучали подкованные копыта по булыжной мостовой.

Ночь продолжается. Белая лошадь с крапленным лягушечьим брюхом, с черными шорами возле глаз, тащит легкую пружинную коляску вброд через лунный Стикс, и прозрачная вода заливаает лошадиные ноги, затем брюхо, покрывает мраморными пятнами лошадиную спину; исчезает в глубокой лунной реке коляска, только торчит над зеркальной водой конская заплатанная голова да маячит сутулая фигура возницы с винтовкой «бердана» за спиной.

В той стороне, откуда идет Красная дивизия, на востоке уже начинает светлеть, но ночь еще продолжается, горит в вышине самая яркая звезда северного полушария — пролетарский Сириус. Покачиваются в седлах идущие ночным маршем бойцы. Ведет по лесной тропинке своего Караула Сашка-Соловей. Не спит арестованный вчера большевик Ян Петрович Круминь, смотрит в лунную темноту, в который раз думает о том, кто же выдал его деннинской контрразведке...

«Кто? Чертков? Лобов? Фельдман? Станкевич? Адрес — Свято-Троицкий переулок, дом Плыгалова — знали только члены ревштаба. А может быть, арест — случайность? Нет. Слежку почувствовал сразу. Филер шел навстречу от ворот. Он даже не взглянул, словно я — пустое место. И мимо. Стоп! Филер слишком притворялся равнодушным. Но его выдали липкие глаза. Неужели провал? Зачем ты сделал эти три шага? Нужно было сразу уходить; через забор и огородами на Монастырскую к Соловьеву. И надо же, такая удача — извозчик из-за угла с каким-то штатским в коляске. «Эй, Ванька!» И вдруг в ответ: «Здравствуйте, товарищ Учитель!» Это произнес из коляски тот господинчик в штучных брюках... «Прошу ко мне». А сзади — руку



за спину и револьвер в висок. По дороге еще надеялся — везут в тюрьму. Есть надежда по блатному телеграфу связаться с волей... Привезли на Миллионную, к Муравьеву. Проклятый стол, неужели кровати не нашлось! Дверь дырой «иудой» испортили. По слухам, Муравьев капризен, но чертовски умен. «Прошу в коляску». Провал! Полный провал. Конспиративный адрес. Подпольная кличка. Знают все. И как раз накануне операции. Теперь все полетит к чертям. Без меня, без сигнала никто не начнет... Только без паники. Возьми себя в руки. Это хныканье сгнивших интеллигентов... Итак, совершенно ясно, что твой арест накануне прорыва линии фронта не случаен. Это первое. Второе — в организации работает провокатор, и он один из четырех членов ревштаба. Это второе. Все четверо заслуживают полного доверия. Кто же? Кто? Арест в двух шагах от явки, разглашение партийной клички — тем самым дано понять, что организация разгромлена или на грани провала. Допрос, конечно же, завтра... Кто провокатор? Кто?.. Это вопрос без ответа. Лучше спросим так: когда внедрен провокатор? Ответ: провокатор внедрен сравнительно недавно, потому что, получая надежную информацию, контрразведка не позволила бы успешно произвести взрыв в паровозном депо. Взрыв произведен 30 июня. После этого единственная акция революционной силы — недавнее нападение на обоз и добыча военного оружия. Следовательно: провокатор внедрен в организацию в июле или начале августа. Но!.. Но с мая в подполье число членов не выросло ни на одного человека. Двое из рядовых членов организации вошли в штаб. Следовательно, на путь предательства внезапно, в силу пока неизвестных причин, встал кто-то все из той же самой близкой четверки штаба: Чертков, Лобов, Фельдман, Станкевич. Все четверо достойны безусловного доверия. Во всяком случае, на первый взгляд. Чертков?.. И все же как ни тяжело, а подозревать приходится всех четверых. Лобов? Без исключения. Фельдман?.. На карту поставлена жизнь или смерть организации. Станкевич?.. Спасение в логике, будем исходить из того... из того... что... из того, что... большевиков они, кажется, не расстреливают. Мол, недостойны даже пули. Смертная казнь через повешение. Позор виселицы... Какая жуткая тишина. В «иуде» глаз караульного. Чего смотришь? Все равно ни черта не видно. В лузе бильярдный шар. Одиннадцатый номер. Пить хочется... Завтра... До-

прос и смерть. Сме...рть. Зачем на шарах пишут цифры? Все равно катится. Шар № 11. Одиннадцать. 11 ноября прошлого года подписан акт перемирия Германии со странами Антанты... Что это? Шорох? Кажется, за стеной? Или мерещится?.. Щится?.. Т-сс. Смерть... шумят клены в старом парке «Аркадия». Что? Кажется, я сплю? Встать. Руки в стороны. Вперед. По швам. В стороны. Глубокий вдох. Выдох. Спасение в анализе. Подвижное в подвижном? Нет... Подобное подобным... Итак, будем исходить из факта, что тебя выдал просто Икс. Что ему известно? Ему известно: твоя бывшая явка. Члены собственной боевой пятерки. Если пятерка Икса принимала участие в нападении на конвой, ему известны в лицо члены другой пятерки. Всего в нападении участвовало 11 человек. Иксу известна в самых общих чертах структура организации. Ее деление на пятерки и штаб. Ему, видимо, известно количество боевых пятерок — семь. Икс безусловно знает, что главная цель организации сейчас — это совместное выступление боевой дружины с оружием в руках в момент штурма Энска. Кроме того, ты объявил членам штаба, что сигналом к выступлению будет прилет почтового голубя с запиской... Кажется, все?.. На допросе, возможно, удастся узнать, кто он. Все... А что неизвестно Иксу? а) Он не знает о том, что конкретная цель операции — это захват с засекреченной группой рабочих паровозоремонтного депо бронепоезда «Князь Михаил», а затем — удар по железнодорожному мосту и прикрытие переправы кавдивизии через Северский Донец; б) Иксу также неизвестна явка у голубятника Соловьева, куда и должен прилететь почтарь из соловьевской стаи; в) Из членов штаба Икс знает только тебя, с остальными по правилам конспирации незнаком... Наконец, Икс не знает о том, что в доме Соловьева... Тсс, что это там, за стеной? Шорох. Или это скребется мышь?.. Тихо. Вот опять. Тише, мыши, — кот. На крыше. Выше. Но... Фельдфебель Русаковский. Пошлый вояка. Нижний чин. Унтер. Офицер. Красножеин. Икс не знает Красножеина. Унтер-офицера. Не знает... Не-стор. Нес-тор Маврин Киевской губернии. Каневского уезда. Чертков? Черт-ков. Он носит студенческую куртку с форменными пуговицами. Лоб-ов? Черные подтяжки крест-накрест. Синие бриджи со штрипками. Поставлен крест. Набрав взлетную скорость разбега, нужно плавно выжать рукоятку «газ» и поднять триплан. Фельд-

ман?.. Тогда играл военный оркестр 116-го Вяземского пехотного полка. Под управлением капельмейстера капитана Целмса. Целься. Да правее. Правей... Что это? Я лечу? Или сплю? Видишь. Проснись, слышишь. Шушу. Шум-м. Это же клены. Шумят в парке «Аркадия». На ней маркизетовое платье с буфами. Зонтик от солнца в руках. Здравствуйте. Товарищ. Учитель. Часть плоскости, ограниченная окружностью, называется кругом. Кругом! Прямо, шагом м-марш. Руль на себя. Контакт. Есть контакт! Да проснись же...»

Внезапно Круминь очнулся. Сон стал опадать, словно уходящая пенная волна прибоя. Пропал авиационный завод Любомирского «Авиата» на окраине Варшавы, рассеялись большие ангары, косо ушел из глаз аэродром, установленный стрекозами «фарманов» и «антуанетт», оборвался голос инструктора Славоросова... Из мертвого водоворота полусна-полуяви Круминь всплыл назад в полумрак своей камеры и ясно и отчетливо услышал справа треск раздираемой, нет, разрезаемой плотной бумаги и, резко повернувшись на неожиданный шум, увидел в полумраке на противоположной стене бильярдной комнаты светлую щель, живую и тонкую трещину. Трещина-щель с треском росла, удлинялась, стекала прямой молнией вниз, пока не уперлась в пол.

Затем часть стены покачнулась.

Он вскочил с бильярдного стола.

Раздался скрип дверных петель, в глухой стене открылась дверь, и в комнату-камеру спокойно вошел незнакомец средних лет во фраке, в правой руке он держал перочинный нож, который тут же спрятал в карман, в левой — зажженную керосиновую лампу.

— Я вас разбудил? — произнес он светским тоном.

Два человека стоят лицом к лицу. Между ними тлеет на полу серебристый квадрат лунного света, разлинованный в крупную клетку тенью от решетки.

Незнакомец во фраке и лаковых штиблетах (это, конечно же, был Галецкий), не обращая внимания на изумление и невольный испуг Круминя, прошел к подвальному оконцу и стал тщательно его осматривать, поднимая повыше коптящую лампу. Подвальное окно представляло собой обычную амбразуру, то есть забранную решеткой нишу в толстой каменной стене.

— Нет, не годится, — произнес неизвестный, обращаясь сам к себе, — чересчур узко. Да и скошено слиш-



ком круто... Зря побеспокоил, но вы вели себя так тихо, что я подумал: здесь пусто. Что ж, выберусь у себя.

И, опустив лампу, он спокойно направился обратно.

— Пойдите, — невольно протянув руку, воскликнул Круминь. — В чем дело? И кто вы такой, сударь?

На первый вопрос незнакомец отвечать не стал.

Внимательно оглядев визави с ног до головы, он задумчиво пожевал губами, не зная, как себя вести. Тени полосато качались на его лице.

— Я? — Он принял решение и отвесил легкий полупоклон. — Я — почетный член германского «Магический циркаль», английского «Мэджик серкл», бельгийской «Д'Аллюзион», наконец, я член АФАП, французской ассоциации артистов-престижистов... Кажется, все.

У незнакомца волевое бледное лицо с хищным носом и властным крупным ртом.

— Прести... ди... житаторов? — Круминь не знал, что и сказать, так ошеломил этот визит сквозь стену. — Вы — фокусник?

— Я Галецкий! — недовольно бросил неизвестный. — Ваше определение неуместно... впрочем, вы профан, хотя человек образованный. Я сторонник френологии — у вас красивый благородный череп... Вы, конечно, политический? Из социалистов?

Круминь не стал комментировать слова Галецкого, только спросил:

— Закурить есть?

— Да. У меня с собой оказалась банка отличного трубчатого табака «кэпстен», и трубку найдем. Прошу ко мне, здесь сыро; моя комната поприличней, если это слово здесь уместно. Только тихо...

Галецкий пропустил Круминя первым и плотно закрыл за собой узкую дверь.

Итак, этот путь не вел на свободу. Круминь оказался в соседнем помещении размером немногим больше его бильярдной. Раньше здесь была курительная комната благородного собрания, о чем напоминали два длинных манерных диванчика вдоль стены и две лепные трубки крест-накрест на потолке. Сейчас эта комната тоже была наспех превращена в камеру, только более комфортабельную. На одном из диванчиков — матрас с подушкой без наволочки. В центре — неуместный полированный столик и мягкие будуарные стулья на гнутых ножках. Стена и полуподвальное окно (тоже в ре-

шетке) были задернуты до половины портьерой из стертого старого бархата. На столе в странном беспорядке колоды карт, жестянка с табаком, книга с золотым обрезом, цветные плитки, стеклянные шарики, веер из страусовых перьев... под столом турецкий коврик в рыжих проплешинах.

Посмотрев на дверь в коридор, Круминь отметил, что она не исковеркана «иудиным» глазком.

— Вот в какую дыру меня упрятали подонки, — с театральным пафосом воскликнул Галецкий, — если б об этом стало известно там (он изящно махнул рукой), Европа бы содрогнулась от гнева... так вам действительно мое имя ничего не говорит?

Круминь пожал плечами.

— Присаживайтесь.

Галецкий поставил лампу в центр стола. Подкрутил фитиль, прибавляя пламя, и тщательно осмотрел лицо комиссара, цепляясь взглядом за каждую щетинку на подбородке. В этом взгляде не было любопытства, обычно с подобным вниманием натуралист изучает любопытный образчик флоры сквозь сильную лупу.

Круминь ответил спокойным, сильным взглядом, и Галецкий отвел глаза.

— Угощайтесь, — он кивнул на жестянку «кэпстен» и, словно по волшебству, достал из-под стола короткую пенковую трубку.

Круминь с наслаждением вдохнул пряный горячий дым.

Раскуривать трубку пришлось зажженным от лампы и протянутым тузом пик; кроме карт, было просто нечем. Туз пик дал сильное жаркое пламя и обжег пальцы.

Галецкий прислушался, в коридоре было тихо, и он стал с оглушительным хрустом разминать пальцы.

— Я торчу в этой мышеловке битых четыре часа, пилил проклятую решетку. Вы только посмотрите на мои руки!

В жарком сиянии лампы показались белые руки, с пальцами гибкими, как стебли выюна. В этих чутких лаковых побегах Круминя покорила некая непристойная гуттаперчевая живость. Казалось, кончики пальцев обнюхивают воздух.

— В 1913 году я застраховал свои руки на тысячу рублей золотом. И вот полюбуйте: две глубокие сса-

дины на мизинце и кусочек сорванной кожицы на указательном. Я не смог даже пристойно перетасовать колоду из 36 карт.

Круминь перевел взгляд на зарешеченное оконце, в которое смог бы пролезть пятилетний ребенок, но никак не этот долговязый мужчина с осиной талией.

— Вы собираетесь пролезть в это игольное ушко?

— Хм... вы даже больше чем профан, — с этими словами Галецкий достал из глубин фракной пары плоскую бутылку вина. — Пейте. Это отличный полусладкий «Гейяк» 1896 года. Я выписывал его из Швейцарии. Последняя бутылка.

И Галецкий, похлопывая себя по фраку, стал извлекать из бесчисленных карманов и кармашков хрустальные фужеры, китайские веера, целлулоидные шарики, бумажные цветы, шелковые платки.. на столике росла экзотическая начинка непоказанных трюков.

— Неужели ничего съестного? — огорчился было Галецкий, и на свет тут же появилась внушительная плитка шоколада «Гада-Петер», пачка галет «Фроокс», прозрачная коробка с мармеладом «Цитрон» в виде лимонных долек, окольцованных сахарной корочкой.

Круминь попытался не показывать своего изумления, но глаза Галецкого замечали все.

— Не удивляйтесь. На мне концертный костюм. Мне удалось его надеть, пока эти свиньи рылись в моем секрете. Фрак сшит по штучному заказу в Варшаве известным портным Светлинским. В нем 49 потайных карманов. Я как раз собирался на благотворительный сеанс в госпиталь на Монастырской. Мой костюм всегда заряжен реквизитом... как видите, все очень просто. Угощайтесь.

— А как вы обнаружили дверь?

— Надо было найти ее сразу. Я догадался простучать стены только тогда, когда уже подпилит решетку. Она была заклеена обоями и закрыта на примитивный замок, а ведь проходить сквозь стены — моя профессия. Некоторые замки я могу открыть ногтем своего мизинца, это правило трюка.

Галецкий отвинтил стеклянную бутылочную пробку, разлил по фужерам тягуче-лимонный «Гейяк» и развернул станиолевую обертку с плитки шоколада.

— Кстати, там, где есть стены, там же имеются двери. Нужно только не терять интерес видеть. Моя сила в упрямом любопытстве.



Круминь плохо слушал Галецкого, в его голове роем проносились мысли о том, как использовать этот невероятный случай с революционной пользой. «Неужели этому типу удастся бежать?»

Круминь пригубил «Гейяк» и направился к амбразуре.

— Только не трогайте руками, — предупредил Галецкий, — решетка может выпасть.

Круминь заметил аккуратные линии подпила на трех железных прутьях, увидел сверху, за треснувшим оконным стеклом, лобастый булыжник мостовой. Камни лоснились в свете невидимой луны. Там была свобода, но само оконце можно было легко закрыть каким-нибудь небольшим томиком, так оно было мало.

«Бессмысленная затея!»

— Да здесь и ребенку не пролезть, — сказал Круминь, возвращаясь к столу. Эта мысль не шла из его головы.

— Опять вы за свое! — раздраженно бросил Галецкий, отпивая мелкими глотками вино. — Ваше невежество начинает бросаться в глаза. А ведь мое имя было написано огромными буквами, и его легко запомнить.

— Я никогда ничего не слышал о вас.

— Главное просунуть голову. Моя голова — идеальное яйцо. Остальное — дело техники. Путем долгой специальной и очень опасной, смею уверить, тренировки я вполне овладел своим телом. Я могу, например, сложиться пополам. Могу смещать кости в суставах, я не дышу до пяти-семи минут. Когда-то я успешно подражал самому великому клишнику всех времен и народов Гарри Гудини. Настоячивая тренировка по его методу позволяет творить чудеса. Даже вас, человека вялой мускулатуры, я мог бы при обоюдном желании обучить освобождаться от цепей и вылезать из закрытого намертво сейфа. Даже вас...

— Научите сейчас, — усмехнулся Круминь, слушая приятный шум опьянения в голове.

— При известном навыке, — Галецкий не стал замечать неудачную шутку собеседника, — можно освободить обе ноги из крепко зашнурованных ботинок и, например, написать ногой письмо под столом, или завязать носовой платок тройным узлом.

С этими словами Галецкий неожиданно выставил из-под стола босую ногу, пальцы которой сжимали горя-

щую серную спичку. Подбросив ее вверх, он ловко поймал спичку в воздухе и задул огонек.

Круминь вздрогнул.

Галецкий был похож на какой-то экзотический цветок — так причудливы были движения его рук, повороты тела, жесты, гримасы — например, на оранжерейную орхидею сорта «Локус», аромат которой и хищная красота заманивает и топит в сладких цветах неосторожную мошкарку. Белая магия была в любом из его 49 потайных карманов, а вместо зрителя маэстро мог бы обойтись и напольным зеркалом.

— Эти остолопы нацепили сначала на мои руки дурачки наручники, затем сообразили — бесполезно. Вот, смотрите!

Галецкий положил на столешницу ребром левую руку и стал каким-то непонятным образом так невероятно складывать, ввинчивать пальцы друг в друга, что кисть на глазах Круминя заметно съежилась, уменьшилась в размерах, словно надутая резиновая перчатка, из которой выпустили воздух.

— Как видите, выдернуть такую натренированную ладонь из любых современных наручников очень просто, — заметил Галецкий, — «гудинайз», надеюсь, поможет мне и сегодня. («Гудинайз» — новое слово, образованное от имени Гарри Гудини в начале XX века. В английском словаре Уэбстера оно означает: освобождение от оков благодаря личной силе, ловкости и изворотливости.)

— Не обижайтесь, маэстро, — сказал Круминь, — мои сомнения насчет того, что вы пролезете в то игольное ушко, — это всего лишь зависть простого смертного, которому, увы, такое не дано. Этот фокус не для меня...

Галецкому понравилось обращение «маэстро», но покорило ненавистное ему словечко «фокус».

— Фокус! По-моему, в этом слове есть какая-то скрытая насмешка черни над нашими иллюзиями... фокус-покус... фокусничать... фокусник... нет, я предпочитаю другое слово: «престижиджитатор», хотя...

С улицы донеслось цоканье конских копыт по булыжнику; в полуподвальном окне померещились и пропали бело-мраморные лошадиные ноги; послышался разговор верховых казаков.

Галецкий залпом допил вино и твердо поставил бокал на стол, собираясь встать.

— А за что вас арестовали? — поспешно спросил Круминь: мысль о том, что сейчас он останется один в белогвардейском застенке, была невыносима. В том, что визави удастся пролезть сквозь «игольное ушко», он уже не сомневался.

«Уж он-то пролезет, дьявол».

— За что?.. О, на этот счет у меня нет никаких сомнений. Я случайно попался на глаза одному мошеннику. Этот прохвост набрался наглости предложить мне совместную антрепризу в его вонючем менажерии. Галецкий и макаки! Каково? Я высмеял его в лицо, и шарлатан-итальянец тут же настроил на меня донос в контрразведку. На следующий день — арест. Эти свиньи искали в моей квартире спецдонесения в Москву, шифры, карты, симпатические чернила. Дурачье, я свободный художник, от нынешней смуты у меня только хандра и мигрень. Но поверьте, они еще поплатятся за арест: меня знает полковник Антон Иванович Деникин...

— Сейчас он — генерал.

— Неважно. Я уже решил расквитаться сам. Днем я устрою этим болванам и тупицам прощальный бенефис.

— Надеюсь, доживу, — заметил Круминь.

«Может быть, записку связному?»

— Вас должны расстрелять? — осторожно спросил Галецкий и вновь отпил глоток вина.

Круминь не ответил, зато спросил:

— Вы не могли бы передать записочку?

— О, нет, увольте! — воскликнул Галецкий, при этом в его глазах ничего не дрогнуло; он был по-тигриному безмятежен, — эта просьба унижительна. Я — не мальчишка на побегушках. Как только я смонтирую аппаратуру, я разнесу этот опереточный штаб по кирпичикам. Часов этак в... пять. Вы сможете этим воспользоваться.

— Что ж, — протянул Круминь, не удивляясь отказу. Помолчал. Добавил: — Только имейте в виду, штаб охраняет казачий взвод, не считая внутренней охраны. Напротив — пехотные казармы.

— Это не имеет никакого значения, — небрежно заметил Галецкий, — моя аппаратура — это тяжелая артиллерия белой магии.

Круминь тоскливо посмотрел на зарешеченное окошко.

— Может быть, я вслед за вами?

Галецкий не уловил его горькой иронии.



— Это невозможно, — ответил он, покачивая ногой с рассеянным видом, — смещение суставов и уменьшение мускулатуры требует телесной подготовки. А лаз так тесен, невозможно тесен, что я и сам, если откровенно, колеблюсь... четыре года назад я последний раз в жизни показывал публике «гудинайз» и еле-еле спасся.

Это было в Варшаве, — продолжал Галецкий, — стояла поздняя холодная осень, и за ночь, накануне моего выступления, Висла покрылась льдом. Я не стал отменять «освобождение от цепей под водой», любители устроили ставки, и меня спустили в полынью в закрытом сейфе. Кроме того, я был в смиренной рубашке. Рукава связаны за спиной морскими узлами. Воздуха в сейфе мне хватило для того, чтобы развязать узлы и открыть замок. Поверьте, при известном опыте это дело одной минуты. Я всплывал почти скучая и на миг утратил бдительность. На одну долю секунды! И все же потерял светлое пятно от полыньи. Я всплыл и ударился головой о лед. Проклиная себя, я проплыл сначала влево, затем вправо. Вверху был сплошной крепкий свежий лед. Запас воздуха в легких уже подходил к концу, я стал терять сознание, пока не сообразил, что между водой и льдом есть микроскопический зазор из воздуха. Кроме того, сам лед снизу неровный, и в его выемках тоже найдется по горсточке воздуха. Соблюдая крайнюю осторожность, я стал плавать на спине, царапая носом лед, пока не наткнулся на трещину. Сквозь эту щель можно было высосать ртом воздух. Коченея от холода, я смог сначала отдышаться, затем сориентироваться по расположению сейфа на дне и поплыть в нужную сторону к полынье. Я не думал о том, что могу ошибиться, и как награда — веревка, спущенная сверху... Зрители меня уже похоронили, и когда я появился спустя 17 минут, успех был грандиозным. Вся публика вдоль набережной вопила благим матом. Я выпил спирт и дал слово: больше в жизни ни одного «гудинайз»... но, это вечное «но»! Мой бог — трюк, сальто-мортале, от которого у слабонервных мурашки по коже. Парить над черепами дураков, таскать за волосы судьбу и даже щелкать смерть по носу — вот высшее наслаждение жизни! Важно только одно: делать это смеясь и с холодной головой.

— В вашей жизни, маэстро, на мой взгляд, слишком много самолюбования. По вашей системе мы всего лишь бесчисленные зеркала для вашего отражения... не счи-

тайте, что я осуждаю вас. Вы хотя бы последовательны в своем риске.

Галецкий и бровью не повел:

— Я живу искусством, а вы революцией.

— Разница не только в этом. Мы живем не для себя — для народа. Моя жизнь без него ничего не стоит, не значит... но мы отвлеклись.

— Да, я служу только себе, — Галецкий помолчал и продолжил рассказ. — Так вот, я дал обет: ни одного «гудинайз», но однажды меня поймали на слове и поставили соблазнительное пари. Я азартен и согласился на элементарный трюк: «погребение в наручниках». Мои мышцы были уже порядком закрепошены, но я понадеялся на свой опыт и вот... и вот в песке мое тело, послушное прежде, как хороший пистолет, отказало. Сначала я сравнительно легко перевернулся на спину, чтобы было удобнее снимать наручники. Открывая замок, я случайно повредил правую руку и вмиг оказался на волосок от гибели. Во-первых, я позволил себе испугаться и, не поверите, ощутил приступ смертельной жути. Наверное, с таким чувством висельник ощущает, как палач поправляет петлю на шее. От мысли, что надо мной полутораметровый слой песка, у меня начались непроизвольные судороги, затем похолодели руки и ноги. Надо было собрать все силы, а я допустил вторую ошибку, которая чуть не стоила мне жизни. Вдруг отчаянно захотелось зевнуть. Делать этого нельзя категорически, но я не смог сдержаться, сказался долгий перерыв в исполнении подобных трюков. Я зевнул. Это был зевок в абсолютной пустоте. В легкие не вошло ни капли воздуха. Это был смертельный зевок; так зевают перед концом старики, когда легкие уже мертвы. Силы мне изменили, и тело перестало бороться за жизнь. Лишь нечеловеческим усилием воли, прокусив до крови губы, почувствовав боль и кровь на лице, я заставил себя сесть, выпрямиться и поднять слой песка.

Пламя лампы вдруг подернулось черной каймой копоти, и дымный язычок, дразнясь, выглянул из стеклянного жерла. «Ужо тебе!»

— Я вылез, похожий на семидневного мертвеца. Ха-ха-ха.

Галецкий рассмеялся каким-то неприятным жестяным смехом.

— Я был однажды на сеансе Антонио Блитца, — сказал Круминь...

...Это было тоже в Варшаве, давно. Знаменитый фокусник приезжал к ним в авиашколу для публичного благотворительного выступления, где для него соорудили помост прямо в ангаре на летном поле. Блиц оказался одышливым грузным мужчиной с вялым бабьим лицом, на котором чернели по-женски подведенные брови и подкрашенные бачки. Сначала он «угадывал» с помощью немки-ассистентки мысли офицеров, смешил публику, ловко отгадывая возраст старших командиров, а затем вызвал на сцену любителей погрузиться в гипнотическое состояние. Желающих не было, и тут курсант, сидевший в первом ряду, поднялся на сцену. Это был Круминь. В ту минуту его охватило желание испытать силу своей воли, тем более в поединке с гипнозом. Блиц как-то беспокойно усадил его в кресло, затем принялся суетливо шептать, пучить глаза, делать пассы, привставая на цыпочки... смех публики становился все более громким. На помощь пришла ассистентка, она цепко ухватила пальцами голову Круминя, но тот только иронически усмехался, глядя в усталые собачьи глаза запыхавшегося гипнотизера. Сеанс не получился. Блиц объявил, что у молодого человека весьма крепкие неудобные нервы, и Круминь вернулся на место под гром оваций. Что ж, ему было приятно принимать шуточные поздравления от коллег, которые не подозревали, что человек с «железными» нервами и разыскиваемый департаментом полиции министерства внутренних дел России варшавский представитель Лиги социал-демократов, распространитель «Искры», известный охранке под фамилией Целмс, — одно и то же лицо.

Вспомнив слова гипнотизера о «неудобных» нервах, Круминь улыбнулся. Неудобность была его принципом...

— Блиц? — удивился Галецкий. — И что он показывал?

— Гипнотизировал желающих, но неудачно. Прокалывал ассистентку шпагой; клал ее в ящик и распиливал на две половинки... и прочие ужасы.

— Это не Блиц, — сказал Галецкий, поморщившись, — под именем блистательного Антонио выступало человек двадцать шарлатанов. Прокол шпагой — дешевое шарлатанство. Шпага имеет способность сильно изгибаться. На талии помощницы надет специальный стальной пояс с входным отверстием для шпаги. Единственная ловкость — не промазать. Попав в отверстие, шпага плавно скользит по внутреннему каналу, огибае



талию и выходит в отверстие пояса на спине. Из залы кажется, что помощницу пронзило насквозь. Нет, это не Блitz... Распиливание пополам — трюк того же вульгарного пошиба. Ящик, в который укладывают ассистентку, состоит из двух частей. Вторая половинка тоже заряжена, то есть там уже спрятана вторая женщина. Весь фокус именно в ней. Это искусная и маленькая акробатка, это ведь ее ноги на самом деле торчат на виду у публики. Акробатка может прятаться и в специальной кушетке, на которую ставят сам ящик. Теперь берем пилу. Распилить два ящика с двумя помощницами пополам ума не требуется. Нет-нет, это не Блitz! Вы это всем передайте... Ах да...

Галецкий сделал извинительную паузу и продолжил:

— Антонио был мастер экстра-класса. Он не дурачил простофиль, да и в Польше, по-моему, никогда не был... но мне пора... кстати, как вам «Гейяк»?

— На мой вкус — сладковат.

— Наоборот — горчит! Горчит, потому что это моя последняя бутылка, а других вин я практически не пью.

— Боюсь, что вам нужно менять свои привычки.

— Это еще почему? Гражданский бунт в России скоро кончится. Все останется по-старому, и я снова смогу послать заказ в Швейцарию.

— Вы показались мне умным человеком. Старая Расеюшка кончилась навсегда, — сказал Круминь, повышая голос.

— Не думайте только, что я поклонник монархии, невежества и нищеты, — ответил Галецкий, тоже нервно возвышая голос, — мне все равно, абсолютно все равно, что с ней станет, лишь бы только я мог пить свой любимый «Гейяк». Да, да, да — я закоренелый буржуа и консерватор! Но не стоит презирать чужие привычки, научите вашу революцию воспитанности!

— Ваши привычки нас не касаются, любите на здоровье свой «Гейяк»...

— Спасибо, — язвительно осклабился Галецкий.

— Нас возмущают привычки вашего класса, — продолжал Круминь, — привычка захребетников жить за счет того самого невежества и нищеты, о которых вы так небрежно заметили. Мы не собираемся учить вас воспитанности по отношению к рабам. Вы довольно воспитанны и так. Наше дело — разрыть до основания ваш мир насилия, неравенства и бесправия. Идет революци-

онная война масс! Ваша тоска по благовоспитанности просто смешна...

Реакции Галецкого были непредсказуемы. В ответ на резкость он вдруг расхохотался, смачно, чуть ли не до слез, повторяя при этом самым приятным тоном:

— Да, да... вы правы — я давно смешон. Ха-ха. Вчера я даже собирался плюнуть на себя в зеркало... ха-ха... разве в этой бутылке «Гейяк»?! Кого я обманываю? Это самое распаршивое местное «Таврическое», от него язык к губам прилипает... ха-ха...

Приступ смеха кончился так же внезапно, как и начался.

— Мне, однако, давно пора, — сказал Галецкий и, встав из-за стола, насмешливо заглянул в глаза Круминя, — не думайте, что я не заметил ваших уловок задерживать меня в собственном обществе. Я вижу — вы не хотите остаться в одиночестве... вы надеетесь, что я помогу вам?

Галецкий задумался.

— Увы, я ничем не могу помочь вам, да и, наверное, не хочу. Право, не знаю, как к вам отнестись. Вероятно, вы из красных? Иначе зачем вас держать взаперти... ваш идеал — диктатура класса, мой идеал — диктатура одиночки: нам никогда не понять друг друга... Помните, в восьмидесятом году прошлого века, когда фокусник Д'Альвини показывал Александру Второму в восточном крыле Зимнего дворца свои трюки, динамитисты из низов взорвали императорскую столовую в другом конце дворца? Я говорю о покушении Степана Халтурина 5 февраля 1880 года. Все было рассчитано, но случилось невероятное — император опоздал к обеду. Обычно он был весьма пунктуален, но своими трюками Д'Альвини задержал императорскую семью. Они опоздали в столовую, и динамитист промахнулся... Так сила уцелела благодаря ловкости рук prestidigitатора.

— Случайность, — бросил Круминь, — все равно через год возмездие свершилось.

— Я не монархист, но мы всегда развлекали сильных мира сего. У них есть время и деньги оценить наше мастерство. Люмпенам больше по душе вонючие менажеры прихвоста Бузонни.

— Вы, маэстро, типичный буржуазный прихвостень! Галецкий холодно хохотнул.

— Да, я — прихвостень силы, как вы — прихвостень

идеи, господин марксист. Между нами особой разницы нет.

— Ошибаетесь, — сдерживая раздражение, возразил Круминь, — вокруг силы — прихвостни, но вокруг идею только борцы.

— А впрочем, — сказал вдруг Галецкий самым миролюбивым тоном, — нашим царям так же не нужны мы — фокусники, как и вы — нигилисты. Сам Калиостро, приехав в Россию, едва-едва унес ноги от гнева Екатерины Второй, а Павел Первый фактически выслал великого Пинетти из Петербурга в 24 часа.

(Кавалер Пинетти посетил русскую столицу в царствование Павла I. Он сказал полушутя-полусерьезно, что может проходить сквозь стены. Павел тут же поймал его на слове и велел явиться за гонораром на следующий день в закрытый дворец, ровно в полдень. На завтра, уже за час до двенадцати, все наружные подъезды дворца были заперты, а ключи от них лежали на столе в кабинете императора. В 11.55 сквозь дворцовую решетку было передано донесение начальника департамента полиции о том, что иностранец Пинетти из гостиницы еще не выходил. А уже через пять минут Пинетти входил в кабинет изумленного монарха...)

— Оставьте мне хотя бы перочинный нож, — тоже не выдержав тон, сказал Круминь. Его больше не интересовали подробности из жизни королей белой магии и прочих «прихвостней силы».

В ответ на просьбу Круминя Галецкий молча протянул перочинный ножичек.

— И попрошу вас вернуться к себе. Сейчас мне придется раздеться до нижнего белья и пролезть в это игольное ушко. Зрелище крайне неаппетитное. Кроме того, у нас свои секреты...

Круминь спрятал нож в карман, взял со стола жестянку табака и, ничего не сказав, вернулся к себе, плотнее закрыв дверь. Казалось, Галецкий не обратил на его уход никакого внимания.

У себя Круминь первым делом решил спрятать нож, и, пошарив взглядом по камере, остановился на пустой стойке для бильярдных киев. Подняв ее, он хотел было спрятать нож, но... что за чертовщина!.. вместо перочинного ножа в его кармане оказался пустяковый костяной ножичек для разрезания бумаги с ехидной ручкой в виде чертика. Рогатый чертенок скалил костяной рот.

«Дьявол, что за шутки!»



Он метнулся назад к двери как раз в тот момент, когда за стеной раздался глухой металлический звук.

Круминь замер, затем подошел к амбразуре, но ничего не разглядел сквозь серебристо-слюдяное лунное стеклышко. Вернувшись к стене, он сначала осторожно постучал, никто не ответил, — а затем открыл дверь.

Оконная решетка валялась на полу.

Рама окна исчезла.

В квадратное отверстие, размером с книжный томик, проникал свежий ночной холодок. Ветерок колебал пламя, затанцовывшее в лампочной колбе.

Маэстро Галецкий исчез.

Его фрак покойно висел на спинке стула.

Его остроносые штиблеты красовались на полу.

Круминь скрипнул зубами от бессилия: неужели он обречен?

В этот час человек и конь подходили к ночному лесу. Сашка вел коня под уздцы, Караул осторожно ступал в темноту, устало встряхивал головой. Пожалев взмыленного коня, Соловей вот уже полчаса как оставил седло и шел рядом, разбрызгивая светляков из густой травы. Позади остался первый пикет беляков, сколько их еще впереди? Лес вставал мрачной стеной, и восходящая луна серебрила верхушки частокола. Ему нужно было успеть в город до рассвета, скрытно переплыть Донец на окраине... отцовский дом в вишневом саду смотрел окнами в сторону реки... Сашка-Соловей был уверен, что Фитька уже там, в гуще родной стаи на голубятне, что отец — Денис Александрович Соловьев — уже снял с его лапки заветную гильзу, что подпольщики уже получили приказ и все же ему надо сказать, потому что птица хорошо, а человек все же лучше, потому что идет война, потому что враг не дремлет.

Конь и человек вошли в лес.

Лес лежал на пути красноармейца и коня, голубя и мотылька.

...Мотылек застыл на листе первоцвета. Это был его первый привал, после того как в полдень, напуганный нападением сорокопута, он вспорхнул и полетел невысоко над травой, над иван-чаем и подмаренником... но в степи, когда роща осталась далеко позади, его подхватил горячий поток нагретого воздуха и поднял на десяток метров над пустыми пространствами ковыля,





житняка и разнотравья. Мотылек подчинился попутному ветру и порхал так до конца дня вдоль все той же незримой стрелы, которая вела его к цели, к белому городу на берегу реки, к двухэтажному дому с мезонином в тихом переулке, к распахнутому окну, на подоконнике которого сияет на солнце стеклянная банка с пойманной бабочкой.

К вечеру попутный поток теплого ветра стал ослабевать, а как только зашло солнце, он и вовсе стих. Потеряв высоту, мотылек вновь порхал над травой и кустами, которые в ночной темноте слились в одноцветную пугающую массу. Но мотылек малой сатурнии не боялся ночи, и только тогда, когда путь преградил лесной частокол, он опустился на душистый рыхлый лист первоцвета набраться сил перед последним рывком.

Лесной остров посреди степи, ночь, луна и звездный купол замерли в глубоком молчании.

В темноте леса лежит человек в солдатской форме с винтовкой в руках. (Человек полулежит в мелком одиноком окопчике, подстелив под себя шинель, и держит в руках винтовку системы «гра» или «витерле», в темноте не разглядеть.)

Над затаившимся мотыльком медленно пролетает светлячок, озаряя зеленоватым светом причудливые очертания ночных кустов и таинственную жизнь крохотного царства. Светлячок похож сейчас на китайский фонарик, свет которого смягчает тонкий шелк, измрудный, оранжевый или белый. Днем светлячок — это маленький бурый жучок, невзрачный супруг некрасивой самочки, похожей на червяка, которая и летать-то не умеет. Зато ночью он царствует, а самочки, или ивановы червячки, горят в лесной траве рассыпанной пригоршней яхонтов.

Ночной лес унизан светляками, как ель новогодними свечками.

Бражник на стебельке селезеночника быстро-быстро трепещет крылышками, разогреваясь перед полетом. Мохнатые волоски на тельце ночной бабочки — защита от летучих мышей.

Человек в окопчике звучно шлепает по лицу ладошкой, комары не дают ему покоя, тогда он вытаскивает из-под себя шинель и накидывает на голову; теперь он похож на большой муравейник в темноте.

Но вот из-за туманных облачков над лесом все ярче и ярче разгорается лунный диск.



Испуганно порскнувшая мышь задела хвостом стебель первоцвета, и мотылек качнулся на чутком листе.

Мышь что-то почуяла...

Ху-хуу-уух!

Это неясить. Она вылетает из чащи на лунную поляну. Время совы наступило. Прячьтесь, мыши, пичуги!

Поворачивая круглой башкой, неясить равнодушно разглядывает разбросанные то здесь, то там живые и горячие угольки лесных жизней. Даже в безлунную ночь сова отлично видит свою жертву при освещении всего в 0,000002 люкса. Человек с таким зрением мог бы увидеть из самолета огонек спички на земле. Сова бесшумным махом пролетает сквозь густую чашу, виртуозно облетая преграды. Ее мягкое оперение глушит полет, сова возникает внезапно, как призрак, а слух ее исключительно чуток.

Неясить слышит сейчас не только перестуки голубиного сердечка в дупле, но и шорох крылышек мотылька, который собрался взлететь с поверхности листа.

Позевывает, накрывшись шинелью, ефрейтор Кузьма Цыганков, крестит от скуки рот мелким крестом. Вот уже второй час он мается в секрете, стережет неизвестно кого на лошадиной тропе; до смены осталось примерно полчаса и, зевая, он мечтает о том, как сначала курнет крепкого самосада, а потом завалится спать в палатке.

Неясить повисает над светлой поляной, ее крылья отливают как рыцарские латы; не мигая, она озирает окрестности, сегодняшний пиршественный стол. Что приготовлено?.. Вот окоченели от страха мышиные тушки. Вот пытаются зарыться поглубже в гнездышки варакушка и овсянка... Ничего интересного, кроме голубка. Глупыш еще не заметил прилета совы и дремлет в дупле, утопив клювик в перья на грудке.

Ефрейтор Цыганков замечает сову над опушкой, сбросив шинель, он разглядывает ее мрачную физиономию с огромными зеркальными глазами. От скуки ему хочется пальнуть по лупоглазой дуре, но в секрете, в ловушке на красных разведчиков, нельзя ничем выдавать свое местонахождение, и Кузьма, вскинув винтовку, делает пальцем фальшивый нажим курка и шлепает губами:

— Ппах...

Неясить делает плавный разворот над поляной, она знает, что ей нечего бояться человека, лежащего на

земле. Мотылек взлетает с листа, и, порхая, скрывается в глубине леса. Он похож на солнечный зайчик, неведомым образом попавший в ночную тьму.

Уух... хуух... хуу...

— Ппах, — повторяет губами ефрейтор нестрашный шлепок губ.

Фитька, насторожившись, открывает глаза и вытягивает шею над краем дупла. Ему показалось, что кто-то пролетел над поляной. Переступив с лапки на лапку, белый голубь хотел было снова вздремнуть, как вдруг перед ним, заслоняя лунный свет, мелькает сначала крыло, затем залитая лунной чешуей грудь, и перед Фитькой спокойно усаживается сова. Она глядит на него молча и не мигая, затем, покрепче уцепившись правой лапой в кору, она протягивает к голубю когтистую левую (все пернатые берут пищу клювом, только хищные птицы берут пищу лапами).

В этот момент Сашка-Соловей, тихо ведущий за собой под уздцы жеребца, напоролся на ночной пикет пехотного полка Добровольческой армии.

Усталость притупила его чувства, и он неосторожно вышел по тропе на поляну.

Первым его заметил ефрейтор Кузьма Цыганков.

— Стой, гад! — испуганно крикнул Цыганков, встав из окопчика и стреляя в человека на тропинке.

Лесная ночь раскололась. Цыганков пустил второй выстрел и снова промазал. Сашка, бросив поводья, упал на землю и пальнул наугад из маузера. Лесная жизнь прыснула врассыпную. Винтовочная пуля вонзилась в дуплистую липу. Сова отпрыгнула. Конь Караул шархнулся назад. Сашка метнулся за ним, успевая поймать поводья. Из английской походной палатки за окопчиком Цыганкова выскочил унтер-офицер и два нижних чина. Хлопнули выстрелы двух винтовок. Рядовые спросонок били не целясь туда, где мерещился всадник ли, конь, пеший.

— Кажись, ранил! — крикнул Цыганков из окопчика и готовно лязгнул затвором.

— Кажись... — передразнил унтер-офицер, сплюнув с досады.

Фитька отчаянно вылетел из западни и, петляя, низко помчался над землей, прижимаясь к кустам, ныряя в лохматые, страшные тоннели, оставляя позади черные пещеры, вылетая на поворотах в полосы лунного света,

в котором вспыхивал ослепительно белыми крыльями, и вновь устремлялся в спасительный мрак.

Рядовые бросились к коням, тревожно храпевшим в близком овражке.

— Отставить! — заорал унтер-офицер. Помолчал, слушая, как стихает топот коня и бег человека сквозь чащу. Выматерился и нырнул назад в палатку, где стал яростно накручивать ручку полевого телефона в квадратном окованном ящичке. Побежала по проводу электрическая искра, и через две версты разбуженный звонком ефрейтор Оникка, с опаской подняв тяжелую трубку, услышал голос унтер-офицера Садовского:

— Оникка, встречай красный гостинец. Мы прохлопали — ты уж смотри.

— Побачимо, — подумав, согласился Оникка. — Я его тут, голубу, с хлопцами у степи встречу трошки. С хлебом и солью.

Погасла в телефонном проводе электрическая искра. Сова вернулась к пустому дуплу. Сашка-Соловей оставился у лесного ручья. Обняв шею Караула, Сашка долго гладил сырую морду и шептал в чуткое ухо:

— Тихо, Караул, тихо...

Конь стоял передними ногами в светлой воде и иногда тихонько ответно ржал.

Светало, и Сашка еще не знал, что жить ему осталось чуть больше часа, только до утра; кончится лес, начнется степь, и его приметит с невысокого холмика ефрейтор Оникка и, подняв страшным криком хлопцев, прыгнет в седло, выхватит из ножен острую кавказскую саблю и устроит красному коннику лихую встречу.

Пустит он своих хлопцев на свежих лошадках с флангов, а сам, словно играючи, пришпорит лихую караковую кобылу Карту, догонит красноармейца и даже не ударит сразу, а сначала подробно обматерит Советы, а потом внезапно получит от красного конника пулю в живот и упадет, выронив кавалерийскую саблю на степную траву, закусив кровавую ленточку в уголке рта.

Сашка будет жить еще минут десять, пока не кончатся патроны в его маузере, пока его не зарубят шашками озверевшие хлопцы, не стянут с ног добрые яловые сапоги, а затем бросятся в напрасную погоню за белым жеребцом и караковой кобылой, оставив в утренней степи под кустом шиповника тело красноармейца. Земля обнимет павшего всадника, укроет степными цветами, прижмет к своей вечной груди...



Но пока Сашка-Соловей не спит вечным сном, а стоит в темноте, обняв лошадиную шею, шепчет в чуткое ухо неясные слова. И заплетаются в русалочки косы родниковые струи, и истончается луна перед наступающим рассветом. И вонзается в густое, как деготь, небо августовский болид, и горит коротким пламенем падающая звезда, истлевает на глазах дотла. Светлеет небо. Подтаивает в рассветном сумраке луна. Догорает болид. Только Сириус сияет по-прежнему пронзительным голубым блеском.

Летит голубь над предутренним лесом, волочит по воздуху усталую правую лапку с примотанной гильзой. На горизонте уже видны очертания спящего города за рекой, где проснулся от неясного толчка в гостиничном номере штабс-капитан Муравьев и смотрит за окно, на светлеющее небо, отливающее синевой. Вот он встает, идет босиком по холодному скользкому паркету, достает из аптечного шкапчика флакон с содой, выкручивает притертую стеклянную пробочку, возвращается к ломберному столику с графином воды, сыплет в стакан белый летучий порошок и обмирает, ошпаренный вспышкой в подтаявшем от рассвета небе, смотрит, бледнея и пугаясь, на кипящий в вышине зеленый грозовой огонь. И не знает, что сейчас кавалерийская дивизия великой пролетарской революции переходит вброд узкую холодную реку.

Чирканье падающей звезды заливает на несколько мгновений силуэты всадников и коней, идущих по груди в воде. Пугливые лошади всхрапывают. Догорает в подлунном небе болид. Порхает ночной мотылек. Мчит-ся белый турман. Теплый ветер раскачивает темные дубовые кроны.

Люди и звери видят, как падает звезда над театром военных действий, и не загадывают желаний.

— Аа! — вскрикнул Ринальто.

Умберто испуганно оглянулся от чердачного оконца и со страхом увидел, что между Ринальто и медным апельсиновым деревцем стоит какая-то женщина в белом, с вуалькой на лице. Бузонни спрыгнул с приставной лесенки и тут же понял, что перед ними — механический автомат Галецкого: женская фигура по щиколотки стояла в древесной стружке на дне раскрытого ящика, будто встала из гроба.

— Vigliacco! (Трус! — *итал.*)

Умберто смял рот Ринальто потной ладонью.

Сорокасемилетний племянник отчаянно бился в его тисках, с ужасом глядя, как женщина поднимает руки в перчатках до локтей к густой вуали. Там, за мелкой сеткой, неподвижно мерцали ее глаза.

В гнетущей тишине с улицы донеслись голоса, и коляска покатила дальше по бульвару, зацокали копыта казачьих лошадок. Кажется, опасность миновала.

Ринальто хрипел, освобождая зажатые ноздри. Властная силища Бузонни была отвратительна, и отвращение пересилило страх.

Автомат наконец поднял руки к лицу, стальные пальчики, инкрустированные перламутровыми ноготками, защелкнулись на вуальке и резко отдернули ее вверх. Ринальто всхлипнул: на неживом лице манекена со слепыми стеклянными глазами шевелились удивительно живые губы из резины вишневого оттенка. Сначала они сложились сердечком. Послав механический куций поцелуй, автомат вдруг запел звучным глубоким контральто (звук шел из отверстого рта): «Милонгита, радости цветок и наслаждения, сколько зла тебе мужчины причинили, а сегодня все бы отдала на свете, чтоб одеться в бархат и шелка...»

Звук был такой же мертвый, как лицо: граммофонный, сухой.

Механический рот, казалось, орал на весь спящий дом, на весь ночной город и, отпустив обмякшего Ринальто, Бузонни повторил свой спасительный жест — захлопнул рот голосившей певицы. Под его грубыми пальцами резиновые губки трепетно шевельнулись, раздался звук разламывания на части, треск, хруст.

— Тсс...

Пот залил лицо Умберто. Автомат утробно захрипел. Так хрипит граммофонная игла, когда пропарывает поперек пластинку. Но на улице звуки не изменились: таял шум едущей коляски, удалялось стальное кваканье подков.

Вот все стихло.

Умберто уложил сломанный автомат назад в ящик, в мягкое ложе из стружек, и в изнеможении от череды страхов присел на корточки.

— «Пропр-р»... (Негодяй — *франц.*).

Ринальто, склонившись над Бузонни, в припадке истеричного смеха, шептал, почти не двигая при этом губ и мускулов лица, как это делают чревовещатели:

— Открыл ящик. А она ка-ак встанет! Из гроба. Ха-ха. Это и есть его жена. Ты понял, Умберто? Женушка на пружинах...

Лицо Ринальто с неподвижным ртом, словно лицо сомнамбулы. На него жутко смотреть, его страх заразителен.

— Каналья, — пытается руганью отогнать свой собственный испуг Бузонни, — где фляжка?

Когда Умберто отвернул стальную пробку карманной фляжки, глотнул остатки пряной обжигающей жидкости, раздавил на зубах черный шарик-перчинку и привалился спиной к печной трубе, он понял, что лицо автомата-певицы, только что уложенной им в ящик, было не чем иным, как точной копией лица ассистентки Галецкого — молодой броской блондинки, которая ассистировала на том самом памятном представлении в петербургском эстрадном театре «Модерн». Поднатужив свою память, Бузонни понял, что искусно скопированы не только лицо девушки, но и ее прическа, рост, пропорции тела... так спустя шесть лет Умберто Бузонни разгадал эффектный финал выступления Галецкого во втором отделении, когда на глазах публики он «развинтил» на части свою помощницу. Правда, уже тогда



старый пройдоха иллюзионист Конни сказал Умберто, что незадолго до финала помощнику заменил изумительный автомат, но Бузонни считал, что Галецкий опять прибегнул к испытанному трюку с черным бархатом... Конни оказался прав, и сейчас, прислонившись спиной к печной трубе, хмелея от выпитого, Умберто почти знал, что вот-вот достанет Ринальто из очередного ящика. Осмелевший племянник извлек тем временем тяжелый сверток в вощеной бумаге и, развернув, с изумленным лицом показал тяжелый металлический предмет, лоснящийся от обильной порции машинного масла... так и есть! Это была стальная рука.

Бузонни восхищенно чмокнул при виде стальной механической руки, которая грозно лоснилась в чердачной полумгле потоками машинного масла, показал Ринальто большой палец и тут же насторожился, ему показалось, что внизу тихо стукнула входная дверь в квартиру Галецкого. Ринальто тоже услышал подозрительный звук, и оба замерли. Прошло несколько томительных минут, но все было тихо... люк над кабинетом Галецкого был раскрыт...

Снизу вновь донесся неясный, слабый шум. Словно кто-то осторожно ходил по гостиной. Чердак, как исполнительный резонатор, усиливал подозрительные звуки. И снова стало тихо. Может быть, показалось? Но нет. Внизу раздался металлический звон, что-то вдруг с шумом упало на пол и покатилося. Лицо Ринальто посерело, и он молча указал глазами на второй чердачный люк в пяти-семи метрах от печной трубы.

— Тсс, — прошипел Бузонни и погасил тусклый электрофонарь.

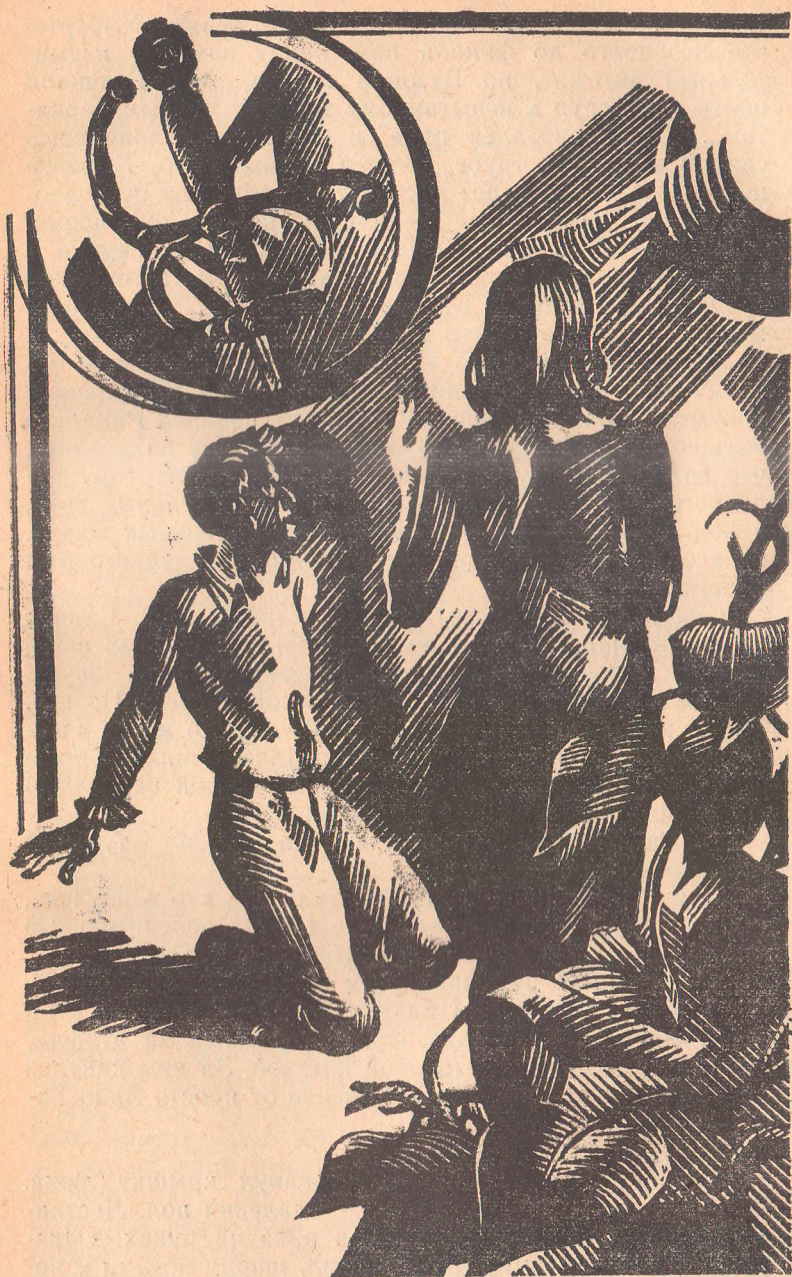
Они затаились, боясь подумать о том, кто вернулся...

Но тут в кабинете Галецкого грянул ослепительный свет. Чья-то рука зажгла электрическую люстру.

Распахнутый над кабинетом люк вспыхнул в полумгле чердака огненным квадратом. Раздался яростный крик. Ринальто в панике первым бросился ко второму люку над соседней лестничной клеткой. За ним кинулся Бузонни. В люке появилось бешеное от ярости лицо Галецкого.

— А! Мерзавцы!

Ринальто, дурея от ужаса, рванул крышку люка. В полу открылся проем, а там — далекий пол. Лестницы не было! Ринальто свесился вниз на руках. «Престо!» Но Ринальто пугливо медлил, шарил ногами в по-





исках опоры. Тогда Бузонни пнул носком штиблет в пальцы. Племянник рухнул на пол лестничной клетки. Бузонни тоже повис на руках, держась за край проема, и так же пытался найти опору в воздухе. Он видел, как Галецкий бежал по чердаку в его сторону и целился прямо в голову из пистолета. Помертвевший Умберто понял, что палец Галецкого уже нажал на курок, но выстрела не услышал, а почувствовал вдруг, что лицо окатила струя холодной воды. («Пневматические детские пистолеты — отличный подарок на день ангела. Высылаются наложенным платежом без задатка. Пересылка 45 коп.») Под злорадный хохот Галецкого итальянец рухнул вниз. Люк захлопнулся. Они бросились к выходу — подъезд был заперт.

Погони не было.

Галецкий не принял их всерьез; отмахнулся, как отмахиваются от докучливых мух; не удостоил ничем, кроме насмешливой струйки из детского пневматического пистолетика; Бузонни чуть ли не рычал от досады и унижения.

— «Пропр-рѐн», «салопар», «бет»... (скотина. — франц.).

Наконец оцепенело присел на лестничные ступеньки, вытирая скомканным грязным платком потное лицо.

«Мамма мия...» Мысль о потерянных богатствах похоронно стучала в висках. С сосущей тоской Умберто вспомнил свой вонючий зверинец, своих соотечественников и коллег по надувательству: Джузеппе Тромбатори — «канадского человека-«угря»; силача, обжору и мошенника Винграутена (Пепе Рубино), который гасил сигару о собственный язык и тем самым зарабатывал на кусок хлеба в сомнительных кафешантанах; группу негров-дикарей с острова Конфу под управлением «одесита» Прохора Чанышева (семейство Джамматео), которые ели на глазах простофиль сырое мясо и показывали невеждам грубые обычаи дикой жизни. Вспомнил вечного неудачника, жулика и шулера Марчелло Рицолли, который выступал с жалкими факирскими трюками: сначала заглатывал за кулисами полую резиновую трубку, а затем на сцене втыкал себе в пищевод шпагу. Бедный Рицолли! Вспомнил и старого ловчилу Буцатти, который сейчас колесил где-то по смятенной Украине с одним чахлым львом, показывая один и тот же надоевший трюк: голова царя природы в пасти царя зверей. Пожалуй, только об авантюристе-гипнотизере, ми-



мике-физиономисте, короле цифр, «живой счетной машине» — Карло Репаччи, Умберто вспомнил с некоторым восхищением. Тому удалось еще при жизни продать свой уникальный мозг за крупную сумму медицинскому факультету Киевского университета... Где сейчас твоя голова, Карло?.. Почему ты так и не научился доставать деньги, как кроликов из своей пустой шляпы... Где наш карточный выигрыш, большой шлем в ермине жизни?

Бузонни с Ринальто просидели на ступеньках под чей-то храп до утра, не решаясь будить жильцов, пока их не выпустил сонный дворник; оказывается, это он храпел в конуре под лестницей. Пошатываясь от усталости и неудачи, итальянцы побрели по пустынным улицам Энска, пока их не догнал извозчик и не довез до гостиницы в тряской коляске на старых рессорах. Кстати, вез их тот самый дурной жеребчик Голубок, который якобы забил насмерть в деннике пьяницу Агапа Лахотина, во всяком случае, так было доложено штабс-капитану Муравьеву... правда, звали жеребчика не Голубок, а Голубка, и лошадь была, разумеется, кобылой, да и сам «покойник» Агап, если говорить до конца, живым и здоровым дезертировал позавчера из обозных возниц «доблестной освободительной армии». Ну и бог с ним!

В номере Бузонни увидел на своей оттоманке неизвестного верзилу в форме унтер-офицера, который спал, поставив пыльные сапоги на стул. Умберто не знал, что делать, но тут на его голос выскочила из соседней комнаты жена, верзила продрал глаза и, натягивая сапоги, объявил антрепренеру, что тот арестован. Затем попросил дежурного телефониста соединить со штабом. Телефон Алексея Петровича в кабинете молчал, и тогда дежурный вызвал номер 24 на втором этаже. Трубку подняли сразу, и Муравьев ответил бодрым голосом.

Пятенко доложил:

— Бузон вот вернулся, господин штабс-капитан. Всю ночь шлялся.

Алексей Петрович подумал. Он был еще по-утреннему ленив и, прижимая к уху черную эбонитовую трубку, вертел на палец длинный матерчатый трехцветный шнур.

— А ну, давай его ко мне.

«За мной!» — скомандовал Пятенко. В трехкомнатном номере итальянца поднялся гвалт, Паоле стало дурно, затараторила дочь, выскочили в исподнем два коренастых усача — сыновья Умберто, которых Пятенко принял за близнецов, так они были неразличимы на его малороссийский взгляд. Одним словом, антрепренер был доставлен к штабс-капитану не без лишнего шума.

— Зачем вы донесли на Галецкого? — спросил Муравьев, втирая при этом в свежевыбритые щеки одеколон.

Умберто помертвел: раз Галецкий был отпущен на свободу — значит, врать было бессмысленно. Ему поверили.

Между тем гневался только голос штабс-капитана, сам он в душе оставался спокоен, в перипетиях этой истории ему даже виделся комизм. Такие чувства, как зависть, сведение личных счетов ему были безразличны.

— Виноват, виноват, ваше благородие, — забормотал итальянец, — черт попутал. Все ради детей. Пощадите». — *Sono un pezzo d'asino!* (Я — старый осел. — *итал.*).

И Бузонни плюхнулся на колени, считая, что в России это не повредит.

— И вы думали меня... меня провести? — усмехнулся Муравьев. — Да встаньте же, встаньте!

Муравьев был доволен эффектом, он уже забыл, что узнал об анонимке благодаря подсказке Галецкого и считал разоблачение Бузонни следствием своей проницательности.

Умберто заметил, что штабс-капитан в отличном настроении.

— Мы с ним объяснились, как два джентльмена, — приврал он, вставая с коленей, — и Галецкий простил мой грех. О, это удивительный человек. Я сам презираю себя...

— Что? — опешил штабс-капитан. — Где объяснились?

Нешадно привирая, Бузонни сказал о том, что был у Галецкого сегодня с извинениями и собирался нынче же явиться с повинной к штабс-капитану.

Через минуту в номере бушевала гроза. Еще не веря нелепым словам антрепренера, Алексей Петрович позвонил в караул, спросил; прошло несколько томительных минут, прежде чем испуганный голос прапорщика

Субботина донес до его ушей весть о побеге арестанта Галецкого.

Уже выбегая из номера, Муравьев, спохватившись, обрушился на Умберто:

— Где птица, негодяй?!

— Один момент, только поднимусь... я свободен?

— Выпускай свою дрянь. А ну живо! Пятенко, проследи.

И, грохоча каблуками, Муравьев сбежал по лестнице. Нет, день начинался неудачно.

Тем временем Умберто Бузонни отворил дверь и вышел на балкон. Пятенко хотел было шагнуть за ним, но вдруг забоялся и остался за стеклом.

Утреннее солнце на миг ослепило итальянца, и он закрылся ладонью, он все еще жил событиями проклятой ночи, во мгле чердака. Глянув сквозь пальцы в клетку, он наткнулся на оранжевые зрачки — она прямо и не мигая смотрела на человека. Пугливо толкнув ногой щеколду, с лязгом открыл клетку и поспешно отступил назад. Цара прыгнула с исцарапанной палки и, не коснувшись пола, взлетела на балконные перильца, затем хлопнула короткими крыльями и тяжело полетела над Энском.

Пятенко незаметно перекрестил лоб.

Лязгнула железная дверца.

В этот момент задремавший было Фитька открыл глаза и встрепенулся.

Вокруг свежая тишина раннего утра...

Над горизонтом низкое прохладное солнце...

На краю рощицы лежит на спине в степной траве, лицом в небо, раненный насмерть красноармеец. Над красноармейцем склонился цветущий куст шиповника. Шиповник выбежал в степь из глубины рощицы, накрыл человека зеленоватой тенью...

Полусонные пчелы нависли над розовыми пещерами цветов...

В мертвой тишине слышится лишь похрапывание белоснежного жеребца; холка испачкана Сашкиной кровью...

Конь стоит в трех лошадиных шагах от тела красного конника, он щиплет росистую траву, порой стряхивает с морды холодные капли, как слезы.

На луке казачьего седла сидит белая птица — это



голубь. Вцепившись коготками в кожаное седло, Фитька оправляет клювиком взъерошенные на грудке перья. Он не узнал в упавшем наземь своего веселого хозяина Сашку-Соловья, но какая-то печальная сила поймала турмана в пригоршню в утреннем холодноватом поднебесье и заставила тихо спланировать вниз, сделать один круг над телом, второй — над конем и вдруг опуститься на седло, к которому по-прежнему приторочена тесная клетка из ивовых прутьев.

В небе, как и вчера, и год, и сто лет назад, заливаются вечный летний колоколец — полевой жаворонок, трепещет мелко-мелко пестрыми крылышками, кажется, вот-вот улетит, а нет, все на месте. Замер в поднебесье как раз над тем краем рощицы, где упал красноармеец, словно бы отметил видной и слышной для всех точкой место Сашкиной гибели.

Горит без треска и дыма над Сашкой цветущий куст шиповника, полыхает на солнце чистым огнем, посверкивает крылышками пчел из цветочных чашечек, словно стоит и сияет над Сашкиным лицом не куст, а гроза.

Караул повернул голову к седлу и посмотрел на необычного всадника. Фитька скосил в ответ свой радужный глаз. Он чувствовал парной запах лошадиного тела, следил, как подрагивает отражение солнца в огромных лошадиных глазах. Привычное конское ржание успокаивало турмана. Голубь и хотел и боялся взлететь, словно разучился летать, будто опять стал почти беспомощной птицей-птенцом, которая еще не знает о том, что воздух держит машущие крылья.

Караул сначала настороженно следил за птицей на седле, но белый цвет ее оперения и неподвижность мало-помалу успокоили его, конь потянул ноздрями: запах птицы терялся в густых ароматах кипрея, словно голубь был слеппен из снега и не имел своего запаха. Караул шумно вздохнул; Фитька остался на луке седла.

Так, молча, голубь и конь долго косились друг на друга, пока голубь не вздрогнул — пора! — и тут же круто взлетел и, стремительно набрав высоту, растаял белесым дымком в утреннем небе, устремился вперед.

Небо в редких перистых облаках — белоснежная голубиная грудка.

Облака повторяют очертания летящей птицы.

Солнце светит по курсу, не бьет в глаза.

Только винтовочная гильза свинцовой тяжестью на-

брякла на голубиной лапке. До Энска оставался последний час полета.

И вновь Фитьку охватило знакомое тревожное чувство нацеленного человеком лёта. Наверное, так же тревожно было лететь голубку над волнами в древней легенде, кажется, лети куда хочешь, а лететь некуда — кругом вода.

И вновь земля внизу стала географической картой, только в том месте, где лежит истекающий кровью конник, бумага подмокла и расползлось кровавое пятнышко.

Летит птица, лежит человек.

Красноармеец Сашка-Соловей умирал.

Он лежал, раскинув руки, ногами чуть вверх, а головой вниз, вдоль покато го пригорка. Он лежал с открытыми глазами, и в его изголовье стоял молодой куст. И если соловьиная кровь, вытекая из свежих ран, бередила росистые былинки почти незаметно для посторонних глаз, то куст дикого шиповника цвел яростно и жадно. Пожар цветов озарял лицо Соловья. Глядя снизу на шиповник и небо, Сашка впервые заметил, как просвечивают на солнце гляцевитые листья. В этом был какой-то явный смысл, но какой? Свободной левой ноздрей — в правой запекаясь кровь — Сашка-Соловей осторожно вдыхал волосок щекотливого аромата. Не мигая, он явственно видел, как вокруг его получужого тела копошится жизнь крохотных божьих тварей. Вот под его отброшенной ладонью ворочается муравей. Вот от кончика листа к черенку ползет по зеленой полянке «божья коровка улети на небо». Она похожа на круглую родинку на Сашкиной шее, и от этой похожести, от щекотания ее ножек, бегущих по листу, у Соловья заслезился глаз, как от попавшей соринки. А от шевеления муравья под ладонью по всему телу, как круги по воде, разбегались мурашки. (Пылкий мотылек на бреющем полете промчался над спиной коня, над цветущим кустом, над красноармейцем.) Сашка, кажется, заметил мелькание мотылька. Он не мог скосить неподвижных глаз и все же следил, как качается на ветру высокая трава. Он не мог повернуть головы и все же самым краешком зрения смотрел, как подплывает пчела к покусанному цветку, в ранках которого сияет сладкий запекающийся сок... кроме того, всей сырой, изрубленной саблями спиной Сашка чуял, как под толщей земли шевелится в подземном русле ледяная река без страже-

ний, и он знал, откуда она течет. Сфера его жизни уменьшалась с каждым вздохом коня, с каждым взмахом пчелиных крыл, пока не уменьшилась до размеров зрачка и стала дрожать на реснице.

От сладостного ощущения покатоности земли, от оцепеневшего кипения шиловника, от букашиной капли на листьях заплаканного куста у Соловья было светло на душе. Над ним летал голубь, его сторожил конь, а куст заслонял от палящего солнца. Он умирал легкой смертью. Жизнь исходила из него осторожно, боясь сделать больно. И единственное, о чем неярко сожалел красноармеец, была печаль по невиданной будущей жизни, где владыкой лучистого мира будет лучезарный труд...

Вдруг ему показалось, что кто-то склонился над ним. Смотрел, стараясь не дышать, на Сашку умоляющим взглядом. Кажется, это было лицо с мужскими чертами. Затем рядом нависло еще одно лицо, только женское, и как бы лошадиное. Тихонечко посмотрев на на себя со стороны, Сашка успел разглядеть над собой двух коней и неясно понял, что его тело и удар саблей, не вдоль, а поперек спины образуют крест, и от мысли, что сейчас он просто крест под кустом, он попытался улыбнуться, но не успел. От этого крохотного усилия губ Соловей и умер, но все же успел почувствовать, что теплом своего тела и кровью он, красный конник революции, нагрел холодную траву пораньше, чем восходящее солнце, и к нему благодарно прижались сотни росистых былинки.

Лицо с мужскими чертами было мордой Сашкиного красноармейского жеребца, трехлетка орловской породы Караула. Соловей не узнал своего коня. Другое лицо, женского облика, принадлежало белогвардейской каравой кобыле ефрейтора Оникки, лошади траккененской породы по кличке Карта.

Карта и Караул, оба без убитых седоков, оба с пустыми седлами на спинах осторожно приблизились, вдыхая чужой запах, шевеля ноздрями и позвякивая стременами. Сначала они враждебно косились, мельком оглядывая друг друга, затем внезапно коснулись головами и отпрянули. Черная, вороная Карта с коричневатыми подпалинами на голове и в паху была словно бы силуэтом ночи, а белый Караул, с белой гривой и снежным хвостом, был почти неразличим в пыльном золоте солнечного утра. Они были удивительно хороши в этот смертельный день. Белое и черное. День и ночь. И по-



чувствовав звонкую рифму своих тел, согласие противоположных начал, кобыла и жеребец заржали, волнуясь и кружась вокруг друг друга и пускаясь в любовную погоню и бегство. Сначала они шли по траве неуверенным шагом, аллюром в четыре темпа, затем побежали строевой рысью, затем поскакали свободным галопом, переходящим в стремительный полевой галоп, и наконец понеслись галопом в полную силу, аллюром в три темпа, то есть пустились в летящий карьер.

Они бежали в луче мертвого человеческого взгляда, вонзаясь в отчаянии зубами в грызло железных мундштуков, в этот ненавистный капкан, в который попали их большеглазые лица. В неистовом карьере было слепое желание сбросить со спины седло, с лица — оголовье, изо рта — удила.

Когда бег, страх и любовь сорвали пелену с глаз, Караул и Карта, прозрев, увидели друг друга и остановились как вкопанные. Словно с них упали сыromятные путы и прежде стреноженные души освободились. Караул испуганно и обмирая от счастья вертел головой, пытаясь понять, почему он вдруг перестал скакать по замкнутому кругу, как это было всегда, как во сне. Он еще по-звериному чуял, как тает в нем ледяной остов, на который была только что натянута его шкура, как на барабан, а на глаза его уже по-человечески наворачивались слезы. Он вспомнил себя. Он смотрел на Карту, которая тоже робко косила по сторонам блестящими глазами. Ему хотелось упасть на колени перед ее косоглазым лицом. А вокруг — и над, и под ними — проступил или пригрезился их прошлый мир, когда люди еще поклонялись животным, словно живым богам.

Тяжело дыша после скачки, Караул и Карта стояли посреди оливковой рощи, растущей на склоне горы, не вдалеке от терракотовых скал, где волшебным зияло отверстие грота и струился источник. В небе над горизонтом виднелась близкая горная цепь, парнаасские вершины, покрытые снегом, а на земле роилась загорелая суета золотого века: в ручьях матово просвечивали руки наяд, в луговых цветах мелькали шаловливые личики лемониад, дриады дружно смеялись и шептались в кронах деревьев. И Карта с изумлением подняла свои смуглые руки, ощупывая железную уздечку, трогая нащечные ремни и поводья, чувствуя во рту вислую тяжесть трензельного железа. Она жалобно взглянула на белоснежного полуконя-получеловека, и Караул, сделав шаг

навстречу, торопливо поднял кожаное, стертое сапогами крыло ее строевого седла, взял крепкими пальцами кончик приструги и, выдернув ремешок из коготка медной пряжки, расстегнул подпруги и сбросил ненавистное седло на траву. Кони так стосковались по пальцам, по рукам, по губам, умеющим целовать, по рту, который не ржет, а шепчет торопливые любовные признания. («Лишь тебя увижу, уж я не в силах вымолвить слова. Но немеет тотчас язык. Под кожей быстро легкий жар пробегает, смотрят, ничего не видя, глаза, в ушах же — звон непрерывный».) Кони обняли друг друга, слившись в поцелуе. Их одновременно робкая и жаркая неумелая ласка в один миг превратилась в ликующую страсть, в цветущий наперекор тьме шиповный куст. Они торопились, потому что по-животному чуяли опасность, потому что их уже заметил со степного пригорка прапорщик Попритыко, или «фендрик», как пренебрежительно звали прапорщиков в царской армии. Попритыко поднес к глазам полевой бинокль и узнал караковую кобылицу убитого ефрейтора Оникки, и, не веря своим глазам, привстав от удивления на стременах, смотрел, как жеребец — белоснежный конь пытается снять кавалерийское седло с черной Карты, как, поднырнув мордой под кожаное крыло седла, тот зубами вытаскивает из пряжки узкий ремешок приструги. Не опуская бинокль, Попритыко ошеломленно окликнул верховых казаков дозорного разъезда.

Зачем она оглянулась на топот погони?

Когда преследователи настигли влюбленных, первой бросилась в бегство она — испуганная нимфа — сначала маленькими ножками по траве, по фиалкам, затем копытами по выбитому шляху. Сначала трепетными шажками, а затем привычной строевой рысью, аллюром в два темпа. Погоня устремилась за Картой, а Караул затаился один в полумраке оливковой рощи, в смуглом священном сумраке, спрятанный надежно в собственные грезы... Конь тяжело дышит. В полумгле рощи солнечные пятна лежат на его мощном крупе, как шкура пятнистой пантеры. Конь обреченно притаился в сиреневых сумерках, впал в бессильное забытие, все еще подрагивая от недавних объятий, чувствуя, как гаснут ее горячие поцелуи. словно сквозь вечный сон, он слышит, как вокруг резвятся, насвистывают и щебечут божки трав, вод и деревьев. Как источники шепчутся с дубравами, а те аukaются с пещерами.

— Карау-ау...

Он закрывает глаза, слышатся отдаленные звуки цимбал, флейт и пищалок, а открыв веки, различает вдали за цветущими кустами призрачную процессию менад, сотканную из пятен света и зеленых лесных теней, видит золотистую кавалькаду, озаренную красноватым пожаром луговых цветов: два леопарда в гирляндах из пурпурных фиг влекут легкую колесницу, в которой сияет полуобнаженным телом юноша дивной мраморной красоты. Наверное, это сам Дионис. Впрочем, нет... нет, это же его ласковый хозяин Сашка Соловьев приветливо машет ему голой рукой, обвитой до кисти ползучим стеблем выюна с нежно-фиолетовыми граммофончиками цветов. Сашка улыбается ему белозубой улыбкой, колокольчики позвякивают на его руке. Он не умер, его смерть показалась тебе, Караул! Конь счастливо смеется, закидывая голову вверх, туда, где сияет посреди кучевых облаков до рези в глазах серебряный Фитька. Божественная суть природы наполняет душу чувством полного безоблачного счастья... Но что это? До ушей Караула опять доносится ржание пойманной Карты:

— Карау-ау-ау...

Призрачная процессия с Сашкой-Дионисом на колеснице заколыхалась в глазах, словно зеркальная поверхность ручья, в который опустилась рука.

Конь готов сорваться в галоп, вслед за туманной кавалькадой, но остается на месте. Он и сам колеблется как отражение в речном потоке — конские глаза цветут в глубине, потом устремляется в вечность. Из степного перелеска туда, на солнечную поляну посреди оливковой рощи, где мерещится Караулу, что там вслед за Сашкой несут на руках деревянное изваяние коня с позолоченными крыльями, что там менады поют гимн коню, губы которого чутки, словно пальцы, и легко отделяют зерна овса от плевел, уши которого различают топот муравьишек на лесных тропах. Слава коню, который, не оглядываясь, видит все, что происходит за спиной! Коню, который, отпивая воду, благословляет купание ребенка, вода чиста как слеза. «Я не променял бы своего коня ни на какое животное о четырех копытах. Так скажу я вам! Он отскакивает от земли, словно мяч, набитый волосом: летающий конь, огнедышащий зверь. Самый скверный рог его копыт поспорит в гармонии со свирелью Гермеса. Он горяч как имбирь. Конь Пер-





сея. Он весь — воздух и огонь. Он — брошенное в цель копьё. Его ржание звучит как приказ короля, его осанка внушает почтение».

В этот момент прапорщик Попристыко сумел с третьей попытки набросить аркан на шею взбесившейся караковой кобылицы, и Карта заголосила от боли и унижения. Она попыталась разорвать веревку, но у нее не было для этого ни рук, ни ладоней, а копыта не пальцы.

— Тпррру, проклятая! — визжал разгоряченный погоней «фендрик», забирая аркан на себя, рывком сбрасывая пойманную лошадь со стойки на задних ногах.

Хлопцы, соскочив с коней, тащили подобранное в степи седло.

Один из них заметил вдалеке и белого жеребца.

— Жеребчик-то, жеребчик... — закричал он, не зная куда бежать.

Караул пустился с места в карьер и разом обрел свою горькую участь. Лицо его вновь очутилось внутри клетки из сыромятных ремней, рот попался в железный капкан, в копыта вонзились четырехгранные гвозди «ухнали», а спина прогнулась под тяжестью засаленного строевого седла.

Ветер задул тенистое зеленое пламя священной рощи. Пропали голоса и смех менад, дробь трещоток, пение флейт. Жеребец стремглав поскакал в открытую степь, и хотя в седле его не было седока, брошенные поводья, уздечка, удила направляли его бег в сторону Энска.

«Фитю видел, фить-ю видел...» — печально кричит с макушки низкорослой козьей ивы голосистая чечевица.

Глупая трясогузка ухватилась крохотным клювиком за хвост, вырвала один конский волос на подстилку гнезда. Затем в морду коня метнулась варакушка, Караул громко всхрапнул от испуга и только прибавил аллюр. Его четкий топот донесся до низко летящего над дорогой турмана Фитьки, и тот набрал высоту. Струя горячего ветра от скачущей лошади стряхнула с придорожной конопли мотылька; кувыркнувшись в воздухе, он взлетел как можно выше и вырулил на прежний курс. Теперь все трое — конь, птица и бабочка — устремились в одну точку на горизонте; конь вскачь, мотылек порхая, голубь пикируя.



Тело, размерами которого можно пренебречь в данных условиях, называется материальной точкой. Пример: гимназист, возвращаясь домой, проходит путь в одну версту. Ввиду того, что размеры гимназиста малы по сравнению с верстой, гимназиста можно рассматривать как материальную точку, а так как радиус Земли почти в 24 000 раз меньше, чем расстояние от планеты до Солнца, то Землю также можно считать точкой... Алексей Петрович готовился к допросу методично и в то же время несколько машинально.

Стул для большевика-комиссара часовой Острик переставлял четыре раза. Штабс-капитану казалось, то слишком близко, то далеко. В то же время он таким образом успокаивал нервы, которые после известия о победе Галецкого и шумной ругани в карауле (прапорщик Субботин получил трое суток ареста) были, так сказать, взъерошены.

Наконец стул встал на свое место.

Алексей Петрович убрал со стола лишние предметы — остался только любимый карандаш — и последний раз окинул мысленным взором диспозицию фигур, которые перемещались его волей: унтер-офицер Пятенко двигался с двумя нижними чинами на квартиру Галецкого; хищная птица гарпия пребывала в засаде на пожарной каланче или колокольне Крестовоздвиженского собора; в номер мошенника Бузонни был направлен часовой для досмотра птиц, коих гарпия должна приносить в клетку; прапорщик Ухач-Огорович продолжал поиски голубятен на дачной окраине Энска; агент Лиловый ждал дальнейших указаний, и, наконец, арестант из бильярдной комнаты, пресловутый главарь опереточного подполья, должен вот-вот предстать перед глазами Алексея Петровича.

«Одним словом, всякие неожиданности исключаются абсолютно». Эта мысль и стала заглавной в допросе-поединке.

— Острик, vedi!

Алексей Петрович придал лицу соответствующее выражение (лицо — оружие при допросе), бросил: «Кури».

Круминь выбрал из портсигара, вытянул из-за резиночки папироску, нарочито медленно помял в пальцах табачный цилиндр, надолго уткнулся в любезно протянутый огонек зажигалки «Мими пенсон», глубоко затянулся слабым дамским табаком, незаметно оглядел кабинетный стол, пытаясь найти хоть какую-нибудь за-



цепку для ума, подсказку для внимательного глаза, например, среди неких помет и заметок на полях, но на столе штабс-капитана никаких бумаг не было, кабинетный стол был чист и пуст безукоризненно, а на лице контрразведчика нельзя было ничего прочесть, кроме скуки и усталости... Точнее, пока ничего нельзя было прочесть.

— Итак, товарищ визави, — сказал Муравьев, — разговор у нас первый и последний. Дорога тебе от меня только на тот свет.

Алексей Петрович отчеканил мелкую паузу.

— Правда, есть у меня одно предложение, идеяка, так сказать. Если мы поймем друг друга... впрочем, боюсь, что жить тебе осталось (Муравьев взглянул на русские часы фирмы Август-Эриксон) час или два.

— Я весь внимание, господин штабс-капитан, — сказал Круминь.

Перед ним сидел типичный золотопогонник, неврастеник, самовлюбленный штабной вояка. Форма красивого желчного рта, тени под глазами, насмешливый взгляд, презрительные гримасы говорили о капризном уме, властолюбивом характере, на донышке которого таится тщательно скрываемый страшок перед революцией...

— А у тебя есть скепсис, товарищ большевик. Вот умница! — Муравьев по-птичьему наклонил коротко стриженную американской машинкой голову. — Открою один секрет, я как раз исхожу из посылки, что ты меня умнее. Так, на всякий случай, чтобы не попасть впросак.

Алексей Петрович внимательно посмотрел в глаза Учителя. Ирония, гибкая правильная речь, холодноватая вежливость, чувство собственного достоинства — все это выдавало в пролетарском комиссаре человека благородных кровей и домашнего воспитания. Если «восставших илотов, рабов и хамов» Алексей Петрович в печальные минуты пусть с натяжкой, но понимал, то вот такие полуинтеллигенты-комиссары от красной испанки были ему ненавистны мучительно.

«Расстрелять, и баста...»

— Итак, карты на стол, — и Алексей Петрович извлек из верхнего ящика стола сложенный вчетверо листочек. Развернул.

— Твоя подпольная кличка Учитель. Выходец из обрусевшей латышской семьи. Закончил рижскую гимназию. Учился в Берлинском университете. Закончить уни-

верситет помешало увлечение эсдековскими идеями. Ты член Российской социал-демократической партии примерно с 1908 года. Имеешь несколько арестов за непозволительную политическую деятельность. В 1912 году по приговору Киевского окружного суда был осужден на каторжные работы. Сбежал при этапировании и с тех пор окончательно перешел на нелегалку. В 1917 году принял активное участие в петроградском перевороте за Совдепскую республику. В прошлом году был направлен Москвой комиссаром на Южный фронт... Все верно?

Круминь молчал, он боролся с яростным желанием вцепиться в горло золотопогонника, а там будь что будет...

«Погибнуть — легко, выиграть труднее», — твердил Круминь наперекор собственным чувствам.

«Вот оно — лицо хаоса», — думал Муравьев, с неудовольствием оглядывая заросшие за долгие часы ареста крупной щетиной щеки и подбородок большевика.

— Дальше в моих записочках провал, — продолжил Алексей Петрович, — сам понимаешь, сплошные пробы. Известно только, что, когда началось успешное наступление освободительной армии, тебе было приказано уйти в подполье.

«Все выведал, черт...» Круминь помнил из лекций по психологии, которые он когда-то неаккуратно посещал зимой 1904 года, в бытность студентом Венского (штабс-капитан ошибся) университета, что душевный мир любого из нас можно, например, сравнить с большой передней, в которой томятся все наши тайные мысли. К этой передней примыкает другая комната вроде салона. Здесь обитает человеческий ум. На пороге между двумя комнатами стоит на страже дворецкий, который дотошно разглядывает каждую из тайных мыслей и в редких случаях выпускает какую-нибудь из них в переднюю, на публику, на свет...

В душе штабс-капитана, в его умственном зале Круминь пытался разглядеть нечто похожее на отражение в старом трюмо, а именно лицо провокатора. Мысль о нем несомненно вертелась в уме Муравьева, а порой и просилась на язык.

Круминь погасил докуренную папироску. Из рассказа хитроумного американца Эдгара По, которые когда-то поразили его воображение, комиссар почти дословно помнил мысль мосье Ш. Огюста Дюпена о том, что, ког-

да хочешь узнать, насколько умен или глуп, насколько добр или зол мой партнер и что он при этом думает, следует стараться придать своему лицу такое же, как у него, выражение, а потом ждать, какие у вас при этом появятся мысли и чувства.

— Тебе, как председателю шутовского подпольного ревкома, удалось сколотить среди местного пролетарского хамья подпольную боевую дружину. Согласно конспиративным правилам она разбита на засекреченные пятерки. По моим подсчетам, у тебя что-то около двадцати человек. Или немногим больше. Каждый боевик обеспечен личным оружием. Кроме того, у вас найдется с десяток мелкокалиберных ружей, плюс ручные гранаты... Хватает для мятежа?

— Да, господин штабс-капитан, вполне хватает, — с подчеркнутой любезностью ответил Круминь. При этом он чуть расслабился и незаметно повторил презрительную гримаску штабс-капитана... «Искусство настоящего карточного игрока, — опять вспомнил Круминь По, — проявляется как раз в том, что правилами игры не предусмотрено. Он изучает лицо своего товарища и сравнивает его с лицом каждого из противников, подмечает, как они распределяют карты в обеих руках, и нередко угадывает козырь за козырем по взглядам, которые они на них бросают. Следит по ходу игры за мимикой соперников и делает уйму заключений...»

— Хватит? — переспросил Алексей Петрович, поймал себя на том, что выдал противнику свое удивление, и с тайной досадой отметил ту вежливость, с которой говорит и держится комиссар от красной испанки.

«Расстрелять собаку, и баста...»

Алексей Петрович, чтобы не всплыть и не наделать логических ошибок, откинулся на спинку кресла, и на миг задумался ну совершенно ни о чем, о светскости, о том, что любезность в обществе всегда встречает благосклонность, о том, что во Франции все мужики свободно говорят по-французски, а в Англии... услужливая память подсказала тем временем пример того, как один французский агент провалился благодаря собственной любезности. Агент рекомендовал себя в Мюнхене комиссионером какого-то берлинского сталелитейного концерна, и его выдала немецкой полиции обыкновенная кельнерша из случайного кафе. Француз попал впросак из-за того, что с истинной галльской любезностью благодарил ее каждый раз за все, что она подавала на стол. Час-



тые «благодарю вас, фрау» на фоне поголовной грубости обычных немецких посетителей убедили кельнершу в том, что этот человек совсем не тот, за кого себя выдает.

— Острик! — крикнул штабс-капитан в приоткрытую дверь.

В кабинет заглянул молоденький часовой.

— Крикни Семена — побрить...

И Учителю, переходя вдруг на «вы»:

— Не могу долго говорить с небритым, господин визави. Скатываюсь в шутовство, в несерьезный тон. Того и гляди дам себя провести.

В дверях встал удивленный денщик-брадобрей с прибором и бритвой на маленьком круглом подносе.

— Вот, Семен, побрей комиссара. Только живо, ему пора на тот свет.

Круминь невольно зацепил взглядом поднос, где между помазком и стаканчиком для пены блестела новенькая бритва с черепаховой рукояткой. Ему ничего не стоило схватить ее и...

Но он взял себя в руки и подчинился с видом: что ж, я не прочь.

Принять правила игры противника — значит проникнуть в механизм его логики, понять механику души. Круминь полунасмешливо задрал подбородок, остро ощутил почти нереальное, давно забытое прикосновение накрахмаленной ломкой салфетки. Учителю было вполне понятно поведение Муравьева. Выложив все карты на стол, играя в «ты» и «вы», как в кошки-мышки, усеяв свою речь полунамеками, бравирюя осведомленностью, наконец, причастив противника мылом, белой салфеткой и бритвой к неизбежному концу, штабс-капитан контрразведки как бы говорил комиссару: ах, братец, возиться с тобой я не собираюсь, глянь, сколько мне уже известно и без тебя, песенка спета, а будешь ты говорить или нет, не имеет особого значения.

Тем временем Алексей Петрович встал из-за стола, подошел к полузадернутому окну и отодвинул камлотовую штору. Острым взглядом он поискал на всякий случай в небе гарпию, и, действительно, впервые заметил ее короткий перелет от колокольни Крестовоздвиженского собора, над Конногвардейской площадью, к обугленной пожаром каланче. Возможно, что красный почтарь выбрал ориентирами именно эти два самых высоких городских сооружения — тогда мимо ему не пролететь.

Гарпия летела тяжело, как бы с усилием взмахивая короткими крыльями.

Как и положено, птица пребывала в небе на своем боевом посту согласно его прямому приказанию. И все-таки этот факт был удивителен и, отметив сие, Муравьев испытал странную смесь дрянного ребячьего восторга и наполеоновского величия: ему подчинялись небеса, люди, птицы, обстоятельства, законы природы... В центре этого подчиненного пространства зияло отверстие, проколотое ножкой циркуля; разум и геометрия побеждали хаос. Жизнь радовала глаз ясностью строевых упражнений.

Муравьев сделал губами победное: «Трум-бум-бум». Натура держала равнение на его грудь.

Круминь наблюдал за ним сквозь прищуренные веки. Постепенно характер Муравьева становился ему ясен — это был опасный и неглупый соперник, классовый враг, которого он и презирал, и принимал всерьез. Становилось ясно, что в неравном поединке Муравьеву нужно было противопоставить его же оружие — холодный расчет. Подобное бьют подобным.

В руках денщика лезвие буквально порхало, и сейчас от этой нехитрой процедуры невольно сжималось сердце, неужели отныне жизнь недоступна? И шафрановая полоса солнца на паркете — милость судьбы, праздник. Да и край неба, видный в окне, голубел так желанно... силуэт контрразведчика на его фоне гляделся черной мишенью.

«О чем он думает? Какую цель имеет этот допрос?»

Штабс-капитан думал о том, что не только крупных птиц, но даже мелких пичуг приучают подчиняться чужой воле. Например, канареек учат подражать некоторым солдатским приемам: они носят маленькое ружье, выполняют с ним приемы, маршируют по команде, соблюдают строй, даже счет с левой ноги.

Муравьев вспомнил свое первое впечатление от гарпии... бррр...

— Хорошо, Семен, хватит, отставить. — Алексей Петрович вернулся к столу.

Денщик проворно вышел, оставив часть щеки недобритой.

— Ну вот, совсем другой вид, товарищ эсдек, вы сразу поумнели.

Сухой смешок. И в руках снова завертелся бумаж-

ный листочек с колонками непонятных цифр, букв, плюсов и минусов.

— Как раз в эти дни, в связи с рейдами противника по нашим тылам, вы запланировали опереточный мятеж. Сигналом к выступлению послужит сущая безделица: перелет почтового голубя через линию фронта с датой наступления красных частей... На этом остановимся.

Муравьев забарабанил пальцами по столу, откинулся на спинку кресла.

— У меня три вопроса. Вопрос первый — в городе почти полсотни голубятен, почти все заброшены, а те, что еще вчера уцелели, сегодня разрушены. И все же опасность прилета вашей пташки остается, ведь голубю совсем не обязательно лететь к голубятне. Для него могут выбрать другие ориентиры. Короче: куда он прилетит? Бросьте ваше упрямство и подскажите, иначе... Кроме того, мне позарез нужно сегодня, в крайнем случае завтра, ликвидировать всю вашу шутовскую банду. Согласитесь, это трудно. — Муравьев усмехнулся глазами и продолжил: — Пыткой от вас, по-моему, ничего не добиться. Ведь ваша мечта — героическая смерть за идеалы социал-марксизма. Вы же типичный фанатик, исчадьё нелегальных брошюр.

Алексей Петрович увлекся фразой. Встал из-за стола. Разминая ноги, прошел взад-вперед по кабинету. Добавил:

— Кроме того, если честно, грубые методы мне не по душе.

Круминь был знаком с таким типом людей, как Муравьев. Эта аккуратная речь, обилие «во-первых», «во-вторых», весь его облик, дотошная пунктуальность, оглядка на логику и прочие равнения на формы — с головой выдавали в нем отечественного германофила, одного из тех доморощенных патриотов, кто жалел о том, что Россия не Пруссия, и мечтал осчастливить отчизну муштрой вкусов и идеалов на кайзеровский лад вместо святынь свободы, равенства и братства.

— Слова, слова, слова, — язвительно протянул Муравьев, останавливаясь у окна, — когда же они очистятся от лжи и крови? Наша Расея больна словоблудием... Маркс ничего не писал об этом в своем писании?

— Об этом он ничего не писал, — в тон ему сказал Круминь, — он писал о другом: «Философы лишь раз-



личными способами объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».

— Вам этого никто не позволит! — резко ответил Муравьев. Он хотел повернуться лицом к большевику, но решил, что в позе спиной больше презрения и силы.

— История не гимназистка, чтобы спрашивать позволения у кого бы то ни было.

— Бросьте агитировать, — не выдержав, оглянулся штабс-капитан.

— Агитируют не люди, а идеалы, — спокойно возразил Круминь.

«Каков же третий вопрос?» — думал он, не теряя нить размышлений.

— Отставить! — окончательно вспылil штабс-капитан и перешел на «ты». — У твоих идеалов чертовский аппетит, отвечай на вопросы.

И Алексей Петрович пошел к столу.

Раздосадованный выдержкой большевика, он даже не заметил, что гарпия вдруг вылетела из засады на верхушке каланчи и, петляя, ринулась вдогонку за какой-то пернатой жертвой.

Гарпия увидела турмана.

Она вздрогнула, словно в ее оранжевый глаз попала соринка.

Сначала Цара заметила неясное движение на границе той незримой окружности, которую она очертила вокруг пожарной каланчи — центра своей западни. Очертила будто поворотом циркуля. Гарпия встрепенулась и рассмотрела летящее белое пятнышко, которое по прямой линии должно было вот-вот вонзиться в молчаливый круг страха. Граница западни проходила по черте городской набережной там, где над рекой начинался чахлый и скучный бульвар, но Цара заметила стремительное перышко еще тогда, когда турман подлетал к реке... Вот белое пятнышко мелькнуло над розовыми откосами глиняного карьера, вот быстрая пушинка пересекла синее на солнце степное озерцо в балке и, продолжая свободный полет, устремилось прямо к реке, за которой начинался Энск.

Гарпия сидела на подоконнике прямоугольной амбразуры, а всего их было четыре, на все стороны света. Здесь, на верху обгоревшей каланчи, раньше находилась

смотровая площадка караульного пожарника. Увидев летящую птицу, гарпия отступила от солнечного края амбразуры поглубже в тень, продолжая с мрачным вниманием следить за энергичным полетом намеченной жертвы. Это летел явно кто-то чужой, городские птицы третий день держались подальше от каланчи, не смея и клюва высунуть из щелей до вечера, а если и вылетали, то неслись, петляя низко над мостовой, от укрытия к укрытию. Местным пичугам невиданная в энских краях тварь казалась исполинским чудовищем (средний вес южноамериканской гарпии 7—8 килограммов при росте 80—90 сантиметров. Для сравнения: вес коршуна около 800 граммов). Гарпия вся подалась вперед, мелко-мелко подрагивая от охватившего ее возбуждения. Так в черной головне на пепелище вдруг вновь проступает от порыва ветра погасший было огонь.

Пернатая жертва пронеслась над рекой, миновала границу западни и смело устремилась в глубь круга. Она летела прямым курсом на пожарную каланчу. Это был голубь ненавистного гарпии цвета: белого.

...Царе шел двенадцатый год. Однажды ее, тогда совсем молодую, достали из ловчей сети человеческие руки, и она, охваченная первым страхом в жизни, долго не могла разжать когти и выпустить из лап убитую ударом клюва приманку — жирного опоссума, а когда наконец расправила когти и попыталась напасть на птицелова, было уже поздно: ей напялили на голову, на глаза черный кожаный колпачок и усадили на натянутое в корале лассо. Ее, рожденную убивать, догонять, терзать и преследовать добычу, стали подчинять чужой силе, и пытка эта длилась целую вечность. Каждый день, каждый час дети, женщины и сам птицелов-охотник держали растянутое лассо. Сотни раз гарпия, теряя равновесие, распускала в темноте — колпачок прочно сидел на глазах — свои невидимые крылья, пытаясь вновь обрести опору, пока не восстанавливала равновесие до следующего рывка. Иногда пытка прерывалась: человек усаживал ее на руку в кожаной рукавице до самого плеча, снимал с ее головы тесный колпачок, кормил вялым мясом и несколько раз громко и отчетливо повторял одно и то же слово: «Цара, Цара, Цара, Цара». В эти короткие минуты гарпия отдыхала, к ней постепенно возвращалась молодая сила, а вместе с ней и желание напасть и убить человека. Но тот, предчувствуя нападение, торопливо закрывал ее глаза ненавистным

колпачком, вновь усаживал на растянутое лассо, и попытка продолжалась. Когда они первый раз выехали вдвоем на охоту и голодная гарпия, слетев с перчатки на руке человека и позвякивая бубенчиком на пуцах — ремешке между лап, — убила на границе пампы и леса агути, желтого зайца, человек подскочил на коротконогой лошади и требовательно позвал: «Цара!» Гарпия сначала подчинилась и, приняв свое имя, взлетела с теплой тушки на правую руку, но когда рядом оказался висок хозяина, она яростно накинулась на человека, но тот оказался сильнее и приволок ее домой в мешке из ловчей сети. Это была последняя попытка покорить ее волю. Цара не подчинилась, и ее оставили в покое, но свободу она больше не получила. Через полгода хозяин продал упрямую птицу в цирковой балаган Аугенсио Сантоса. Балаган Сантоса колесил по Латинской Америке, и гарпия исполняла «кровавый» номер «Коррида в воздухе», рассчитанный на солдат, гаучо, гуахиро — грубых любителей петушиных боев. Жена Аугенсио выбрасывала из клетки белых голубков — они лучше смотрелись, а сам хозяин выпускал голодную гарпию, привязанную длинной тонкой бечевой за правую лапу. Под дружный рев толпы Цара устраивала расправу над беззащитными птицами, которые не могли улететь из-под матерчатого купола. На самых увертливых из голубиной стаи делались мелкие ставки, если голубь успевал прошмыгнуть мимо клюва и лап в убежище, Аугенсио проигрывал, но такое случалось редко. Иногда, смеясь ради, Аугенсио с силой дергал за бечеву, и гарпия выделывала в воздухе унизительные кульбиты. Так прошло три года. Когда дела в балагане пьяницы Сантоса совсем расстроились, гарпию продали в мексиканский менажерий, а затем еще несколько раз перепродавали из рук в руки, пока она не попала наконец на глаза последнего владельца — Умберто Бузонни — в Триесте. Он возил ее по Европе, потом по России. С каждым годом нрав Цары становился злей, и она, например, никогда не упускала случая долбануть клювом по пальцам любопытных зевак, которые совали в клетку печенье, косточки от плодов. Раз или два в месяц Бузонни выпускал ее полетать, чтобы птица не потеряла сил, не растеряла своей злобной мощи. Он выпускал ее в полет на длинной бечеве, но гарпия каждый раз торопливо возвращалась к клетке, и итальянец однажды рискнул отпустить ее без привязи. Цара вернулась и с тех пор всегда



возвращалась после таких полетов. Она привыкла к чистой клетке, к свежей воде, к вареному мясу, к человеческому голосу. Лишь иногда в ней вдруг просыпалась прежняя ярость хищницы, и гарпия бросалась на разную живность; убив, она вяло клевала тушку, равнодушно шевелила ее лапой — ее инстинкт был словно пригашен. Только белые голуби приводили ее в злобное бешенство... «Воздушная коррида» в балагане Сантоса не прошла без следа.

...Фитька стремительно летел к городу, который он сразу узнал и по узкой ленте реки, что подковой огибала городские кварталы, и по двум самым заметным ориентирам: куполу Крестовоздвиженского собора и штыку пожарной каланчи. Купол пылал рыжей позолотой, пожарная вышка чернела. Над каланчой голубь обычно круто разворачивался и, полого снижаясь, летел на городскую окраину, прямиком к заветному дому в вишневом саду у белой стены Десятинского монастыря, к стенам которого, сделав петлю, прижимались воды Донца.

Здесь, у голубятни в саду, кончался его опасный полет.

При виде Энска Фитьку охватило чувство, которое на языке птичьих ощущений можно назвать восторгом: река отливала сизым пушком птенца, пирамидальные тополя торчали зелеными перьями фазана. Город-гнездо тонул в солнечном чаду и сладко покачивался перед глазами крылатого странника.

Набирая скорость, Фитька промчался над последними дубовыми перелесками, миновал розоватые откосы глиняного карьера, отразился в малом озерце в степной балке и вылетел к обрывистому правому берегу.

Здесь его открытый полет пытались остановить береговые стрижи — они вылетели навстречу турману из норки гнезда в береговом откосе и пронесли с тревожным визгом перед Фитькой, словно хотели сказать: назад! Голубь, напуганный их стремительным вылетом, шарахнулся в сторону и одним махом перелетел неширокую реку, пронзив навывлет незримую стену западни. Тут его полет подстерегла старая городская ворона, которая днем обычно отсиживалась в одной из дыр разбитого снарядам купола над домом призрения. Увидев летящего прямо в лапы гарпии глупца, она не выдержала и, вылетев из убежища, громко каркнула. «Карр...

«кар-рр...» — предупреждая турмана. И действительно тревожный крик заставил Фитьку насторожиться — голоса городских ворон ему были понятны, тем более крик об опасности — «бер-регись, пр-р-рячься, дур-рак». Еще не зная, откуда грозит беда, турман, кувыряясь, стал стремительно падать под защиту городских крыш, и гарпия, молнией вылетев из засады, была вынуждена на лету развернуться. Потеряв скорость, она, свирепея, метнулась вдогонку. Огромный круг западни, в который только что был вписан центр Энска, стремительно съезжился до размеров крылатой мишени — почтового голубка. Циркуль превратился в пернатую стрелу.

Фитька засек черную тень слева.

Его сердечко отчаянно заколотилось.

Десятки птичьих глаз следили из щелей за погоней.

— Гляди, гляди, — крикнул извозчик своему седоку, тыча кнутом в небо, — во потеха.

Фитька падал вдоль бесконечного ската золотой горы церковного купола, скрываясь из глаз дьявольской бестии, но гарпия неумолимо настигала. Кувырок, еще кувырок через голову, и Фитька тоскливо помчался над необъятной крышей «Торгового дома братьев Тучковых». Крыша, крытая листовым железом, сияла внизу безжалостным блеском раскаленной пустыни. Там нельзя было укрыться от ужаса. Голубь уже явственно слышал сзади частые хлопки настигающих крыльев. Вдруг крыша оборвалась, внизу показался сквер из пыльных серебристых тополей, кривых акаций и кустов жасмина. Сложив крылья, турман спикировал в седые волны тополиной листвы, петляя между ветвей, залетая в кроны; он ждал от деревьев защиты, нырял в самую гущу ветвей — скорость бегства резко упала, но тополиный заслон был слишком редок, в кущах зияли сквозные дыры. Гарпия яростно настигала. Ее глаза полыхали. Сейчас она воочию стала той адской фурией, что когда-то преследовала фракийского царя Финея, красной медью отливают ее крылья из стрел-перьев. Она уже почти нагнала голубка, нависла когтями, когда на помощь пришли воробы: пестрая стайка вспорхнула с акаций и пронеслась перед гарпией галдящим взрывом. На несколько мгновений Цара потеряла свою жертву из виду, и когти стиснули воздух.

Фитька, вылетев из-под ненадежной тополиной защиты, метнулся в тоннель гостиного двора и помчался под сводами кирпичной аркады. Он летел из последних

сил, потолок качался над ним как грузная туча. Его отчаянный полет заметила живописная группа цыган, дремлющих в тенистой прохладе, а когда под своды влетела разъяренная бестия, цыгане повскакали с испугом, хватая на руки детей и выбегая на солнце. В два взмаха она догнала уставшего турмана, переворачиваясь на лету на спину, чтобы стиснуть его снизу лапами. Фитька, увидев под собой жуткий цветок из когтей, зажмурил глаза и не сразу заметил, как из глиняных гнезд у потолка вылетели пять ласточек, пять чернокрылых птах с узкими хвостами-вилочками и белоснежными грудками. Ласточки помчались за гарпией, смело хватая крохотными клювиками перья траурного хвоста, бесстрашно пикируя на грудь страшилища. Гарпия, дрогнув, перевернулась и долбанула клювом по ближайшей ласточке. Тельце шлепнулось на каменный пол галереи, и все же погоня вновь споткнулась. Городские птицы словно ловили гарпию в тонкую сеть, и, разрывая каждый раз упругие ячейки, Цара теряла скорость. Фитька вылетел из-под сводов аркады на ослепительное солнце и из последних сил устремился по прямой к распахнутому чердачному окну здания ссудной кассы, двухэтажный дом которой стоял на Рождественском спуске. Чердачное окно было широко распахнуто настежь, и, влетая на чердак, Фитька понял, что дом не укроет его от смертельной погони черного снаряда. Вылетев из аркады, гарпия успела заметить, как крылатый снежок утонул в темноте чердачного окна, и в последнем стремительном броске устремилась вперед.

Фитька, обессиленно ткнувшись по сторонам чердачного тоннеля, обреченно слетел на выброшенную старую швейную машину «Зингер». Он оказался в ловушке. Его глаза устремились на солнечный квадрат окна и наконец увидели гарпию: дьявольскую фурию с оранжевыми кольцами вокруг зрачков. Фитька как всегда ослепительно и беззащитно белел в черноте, гарпия победно устремилась на жертву, но... но чердак ссудной кассы был давно облюбован горластыми сероглазыми галками, и сейчас они многоклювой ватагой набросились на ненавистную тварь, крича и толкаясь крыльями, целясь в глаза, в голову, в грудь увесистыми носами. Гарпия закружилась в ворохе птиц, словно с размаху угодила в кучу осенних листьев, утонула в галдящем пернатом омуте, размахивая мощными лапами, рвала на клочки живую сеть.



Сыплется вниз дождь галочьих перьев.

Внимают ужасной схватке сотни городских пичуг: галдят воробьи, чиркают по небу ласточки, подают голос скворцы и мухоловки, каркают вороны — слетаются клубами к чердаку.

Протискивается в боковое разбитое слуховое оконце турман, чувствует, как скользит со скрипом по перышкам, вдоль спинки, стеклянный клык. Протискивается и обессиленно летит все дальше и дальше над городом, пока не падает комком в тень вишневого сада на задах соловьевского дома, на плетневую крышу сарайчика, придавленную кое-где дерном, ищет глазами свою голубятню, от которой остался лишь черный остов.

И все же он дома. И все же у цели. И голубь счастлив, как может быть счастлива отважная белая птица, пернатый рядовой гражданской войны с медной гильзой на малиновой лапке, где косым почерком кавкомиссара написана шифровка о том, что белогвардейский Энск будет атакован завтра ранним утром.

Спустя полчаса потрепанная гарпия вернулась на балкон гостиницы. Бузонни, заметив, что она прилетела намного раньше обычного, выскочил на балкон.

— Мамма мия!

За ним осторожно выглянул часовой.

Цара сидела на перилах, оправляя клювом взъерошенные перья. Особенно полысело правое крыло, даже пернатый чепчик на макушке адской девы был заметен реже. На груди алели мазки крови.

— *Forca miseria!* — воскликнул ошеломленный антрепренер. (Черт возьми! — *итал.*)

Взгляд птицы был и страшен, и жалок. Взглянув на хозяина, она тут же отвернулась, а в том, как она оправляла оперенье, было что-то похожее на поражение. Бузонни толкнул ногой щеколду и предусмотрительно отступил, выталкивая спиной часового из двери.

Но Цара не двигалась. (Она зашла в клетку и напилась воды только тогда, когда стало темнеть; все это время семейство Бузонни боялось даже подойти к стеклянной двери на балкон, не то что выйти к птице.)

Умберто испуганно бросился к настенному телефону, он был уверен, что его гарпия стала жертвой жестокого нападения неизвестных злоумышленников.

На столе штабс-капитана мелодично прозвонил телефонный аппарат.

Алексей Петрович взял трубку и, услышав голос итальянского антрепренера, крикнул часовому Острику:

— Выведи-ка его в коридор! — Комиссару незачем быть свидетелем конфиденциальных разговоров. И снова в телефон резко и властно: — Говорите, Умберто.

Муравьеву еще несколько раз пришлось осаживать напор Бузонни, уточнять и переспрашивать, прежде чем в его голове сложилась мрачная картина поверженной Немезиды... «Неужели фиаско?» — подумал штабс-капитан и потребовал к телефону часового при птице. Тот доложил скучным голосом, что «птица так точно, кем-то общипана и побита малость. Летать не хочет».

— Продолжать охрану. Утром посмотрим, — командовал Муравьев и швырнул трубку на никелированный рычаг. Он был так зол и так прятал свою ярость, что встретил возвращение комиссара на стул чуть ли не со смехом.

— А вы, господин агитатор, отъявленный неудачник, — сказал он смеясь.

И тут штабс-капитана занесло; стиснутое чувство продралось каким-то фанфаронским враньем. Впрочем, Алексей Петрович тут же окрестил его тактической уловкой.

— А вы отъявленный неудачник, — повторил Муравьев. — Одним вопросом стало меньше. Дураки умирают первыми... Мне только что доложили: ваша затея с голубком лопнула!

Муравьев притворно рассмеялся, и Круминь, нервы которого были напряжены до предела, ощутил смутное недоверие к его словам.

— Подрезали крылышки вашей пташке.

Штабс-капитан был снова на «вы», словно в приступе хорошего настроения после отличной новости.

Круминь не знал, верить или нет тому, что он только что услышал; неужели сигнал перехвачен? Неужели завтра штурм? Они условились с Мендельсоном о том, что почтарь прилетит накануне атаки. Но почему тогда ни слова о шифровке? Почему золотопогонник молчит о ней? Не требует объяснить, что значат эти непонятные значки? Не выкладывает ее на стол... стоп! Если голубя перехватили недавно, то шифровка еще не доставлена. Впрочем, от штаба до голубятни Соловьева, куда должен прилететь почтовик, полчаса хорошей езды... А может быть, ее не заметили?

Круминь напряженно думал над услышанным, ста-

раясь ни одним движением мускулов на лице не выдать свои чувства.

Алексей Петрович помолчал и, словно угадав мысли комиссара (вопрос о судьбе почтового сообщения был явно на виду), добавил почти равнодушно, как о чем-то безусловно решенном:

— После того как мы перехватили сигнал, ваш опереточный мятеж отменяется... Право, вы неудачник, товарищ.

После этих слов Круминь был уже почти уверен, что все это — плохо замаскированная ложь: в течение допроса ничего, по существу, не изменилось, да и в штабном помещении было явно спокойно. Сквозь приоткрытую дверь доносился перестук «ремингтонов», долетали обрывки обычных фраз в коридоре, чей-то смех, редкие трели звонков... Если бы белым на самом деле стало известно из расшифрованной депеши (хоть шифр и достаточно прост, для его дешифровки требуется специалист) о предстоящем завтра внезапном штурме красных частей... здесь бы такое началось.

Муравьев лгал, и все же Круминь, не доверяя до конца своим чувствам, сделал для себя осторожный вывод: даже если почтарь перехвачен каким-то чудом или случайно, то шифровка еще не прочитана.

«Но кто, кто нас предал? Ведь никому, кроме меня и Соловьева, не было известно, что почтовый голубь из его домашней стаи... Может быть, предателем стал сам хозяин? Об этом я раньше как-то не подумал... Нет... Соловьев, во-первых, не член ревштаба, ему ровно ничего не было известно об организации подполья, чем так блеснул на допросе белогвардеец. Во-вторых, тогда не было бы вопроса ко мне о том, куда же прилетит птица?..»

— Итак, продолжим, — сухо промолвил Муравьев, пряча сразу и смех свой, и кислую улыбку, — из трех вопросов осталось только два. Боюсь, что вы не успеете на них ответить. Так что спешите, месье комиссар, поторапливайтесь. Вопросы могут отпасть прежде, чем вы откроете рот...

Муравьев уже пожалел о своей вспышке вранья: вопрос о голубятне ли, о другом ли ориентире для почтаря нужно было выяснить во что бы то ни стало.

Он задумался над тем, как выкрутиться из внезапных осложнений. Поразмышлял и над тем, можно ли принимать красного комиссара за человека, перед



которым должно стыдиться за собственную ложь, должно соблудости приличия совести... ответы были пока Алексею Петровичу неясны.

«Странно, — подумал Круминь, — пока контрразведчик задал мне лишь два вопроса: первый о поголовном списке всех подпольщиков, второй о том, куда прилетит почтовик... Какой же третий вопрос?»

«Существует школярская игра в загадки, — говорил все тот же шевалье Шарль Огюст Дюпен в «Похищенном письме» американца По, — в нее играют над картой. Одна сторона загадывает слово — название города, реки, государства или империи, — словом, любое слово из тех, что напечатаны на пестрой поверхности карты, другая должна его отгадать. Новичок старается обычно сбить противника с толку, задумывая названия, напечатанные самым мелким шрифтом, но игрок опытный выбирает слова, которые крупными буквами тянутся через всю карту. Эти слова, так же как вывески и объявления, написанные слишком крупно, ускользают от нашего внимания именно потому, что они слишком на виду. (Круминь на миг сбился с чужой мысли: кто-то торопливо бухал сапогами по коридору.) Физическая слепота здесь в точности соответствует духовной, вследствие которой (сапоги уже почти у входа в кабинет) ум отказывается замечать то, что слишком явно (штабс-капитан беспокойно уставился на дверь) и очевидно».

В кабинет ворвался унтер-офицер Пятенко, приложил руку к козырьку, хотел было что было мочи доложить, но зыркнул на арестанта и подавился словами.

— Не тяни! — взорвался штабс-капитан, вскакивая из-за стола, ему было плевать на присутствие постороннего.

— Галецкий не обнаружен. Сбег, видно, из городу. А на фатере капкан насторожил, подлюга, весь сапог попортил.

И Пятенко выставил на обозрение свой хромовый сапожище, носок которого был исцарапан железными зубьями.

Круминь перевел дыхание — он было решил, что доставили шифровку с гильзой.

— Вам вот, ваше благородие, цидулю оставил.

— Мне?!

— Так точно, я добре бачу.

Пятенко осторожно выложил на стол помятую бу-

мажку, которую явно пытался доставить не измятой, и все ж таки изрядно помял.

«Штабс-капитану Муравьеву».

Алексей Петрович развернул и прочел на латыни: «Bis dat, gui cito dat» (Вдвойне дает тот, кто дает скоро). От записки исходила насмешка и угроза.

— Ступай! — Штабс-капитан махнул рукой, тяжело сел — день явно выдался не из легких; его глазки-буравчики вновь зло уставились на Учителя, пальцы прергали барабанную дробь по краю стола.

— Третий вопрос вы так и не задали, — как бы оттягивая время, спросил Круминь.

Муравьев насторожился, вопрос, который он хотел задать третьим и последним по счету, касался сведений, полученных от Лилового. Тот доносил, что в штабе Вооруженных сил Юга России якобы имелся неизвестный Лиловому московский агент. Факт этот при всей невероятности требовал серьезнейшей проверки. Он давно бы задал вопрос, если б последние события не прервали допроса. Сейчас Алексей Петрович как раз и собирался спросить об агентуре в штабе ВСЮР, но неожиданное напоминание Учителя чем-то насторожило; штабс-капитану померещилась какая-то опасность, и он еще более пытливо всмотрелся в подпольного комиссара. Увы, на лице противника он ничего не прочел.

Если бы Алексей Петрович верил в интуицию, в собственное душевное чувствилище, он так бы и не задал третьего вопроса, но штабс-капитан, как известно, исповедовал планиметрический гений, верил только в исходную точку, поклонялся божеству логических выкладок и, мысленно порассуждав, не нашел оснований для своей настороженности, а не найдя таковых, этому смутному чувству отказал.

Третий вопрос будет задан в свое время.

— Здесь спрашивать позволено только мне, — подчеркнул Алексей Петрович жестким голосом, — отвечайте на первый: поименный список всего подполья на стол — и я гоню вас в три шеи на свободу. Пожалуйста, читайте по слогам подпольные брошюры неграмотным хамам... но второго прощения не будет, ясно, голубчик?!

В детской игре в «жмурки» игроку с повязкой на глазах можно подсказать криками «холодно», если он далеко от цели, и «жарко», когда он вот-вот отыщет нужный предмет. Так и сейчас Круминю вдруг стало

«жарко» от блеснувшего в сумраке тайны нечто, похожее на разгадку. Но озарение было столь мгновенным, что не успело стать законченной мыслью. Мгновенное нечто мелькнуло и погасло, как сигнал, что он на верном пути.

«Подобное бьют подобным!»

— Не лезьте в историю, — насмешливо рассуждал Муравьев, — оставьте ее в покое. Хватит и Расеи, которая больна красной испанкой.

От сложной смеси возбуждения, досады и злости Алексей Петрович встал, зашагал по кабинету:

— Россия не повод для революции. Она — предмет для эпиграмм и эпитафий. Нам и нашей истории всегда не хватало трезвости, иронии, наконец. Я уж не говорю об уме. Мы готовы заложить душу ради дешевых патриотических эффектов...

Круминь не слушал белогвардейского словоблудия штабс-капитана. Мысленно ощупывая каждое характерное слово Муравьева, повторяя про себя выражения его лица, комиссар пытался воспользоваться рецептом По: начать думать точно так, как соперник. Проникнув в тайну его души, он легко бы смог читать ее скрытые страницы.

«Если бы провокатором был Фельдман, — продолжал с лихорадочной поспешностью размышлять Круминь, — то от золотопогонника не ушел бы факт его происхождения. В эскападах Муравьева против революции наверняка бы замелькали намеки, не удержался бы представитель белой кости и голубых кровей от темных параллелей между судьбой распятого отечества, 30 сребрениками и предателями-большевиками... Но ничего подобного в монологах Муравьева не было... Нет, нет, совсем другое беспокойным пунктиром прострочило речь штабс-капитана! Его душе мерещился исполинский хам. Именно из этого видения и возникла его фраза: «...и ступай на свободу, читай по слогам подпольные брошюры неграмотным хамам...»

— Наше мирное подражание Европе и не могло быть слишком длинным, — штабс-капитан остановился в любимой позе у окна, — нам было скучно жить на цивилизованный манер. Захотелось своего, доморошенного. С косматой бородой, которую Петр Великий так и не сумел отрубить...

«Да, — думал Круминь, — ему мерещится прежде всего



хам, причем не разночинец, не гладко выбритый интеллигент, очкастый книжник Яков Фельдман, нет... его слова таили другое имя...» Луч подозрения осветил три оставшиеся фигуры: Лобов, Станкевич и Чертков. Меньше всего Круминь был склонен подозревать своего любимца Федьку Черткова, поэтому...

— Итак, ваш ответ!

Штабс-капитан недовольно стряхнул с рукава военного френча некую залетевшую соринку.

— Господин штабс-капитан, — стал медленно подбирать слова Круминь, цепляясь за каждую секунду промедления, — вы знаете все, и в ответ на вашу полнейшую доверительность я не буду кривить душой. Отрицать вашу победу бессмысленно, поэтому я хотел бы предложить вам соглашение. Оно основано на законах логики, которую вы, как я понял, исповедуете.

— Bravo, товарищ социал-марксист!

— Как вы сами понимаете, сообщить вам фамилии всех членов организации я не могу. Если я скажу вам, что просто не знаю фамилий, что таков принцип строжайшей конспирации, вы мне не поверите. Предположим, я знаю их. Но разве моя совесть будет спокойна, если я выдам всех верных товарищей по партии? Потом, когда революция победит, меня расстреляют как явного предателя, если не раньше. Ваше условие для меня, увы, неприемлемо.

— Что вы предлагаете? — перебил Муравьев.

— Мне надо подумать.

Муравьев нетерпеливо кивнул.

«...Итак, — продолжал лихорадочно думать Круминь, — Фельдман невиновен, остаются трое: Лобов, Станкевич и Чертков».

Меньше всего он подозревал своего любимца отчаянного Федьку Черткова, поэтому, заметив собственную предвзятость, Круминь вытащил Черткова из конца своего короткого списка и поставил номером вторым. Если предположить, что провокатор Чертков, то, общаясь с агентом, Муравьев, несомненно, отметил бы для себя следующее: во-первых, у Черткова случайным взрывом в подпольной лаборатории изуродована кисть правой руки. Это случилось еще в 1908 году, во время изготовления партии бомб для теракта. Несчастье Черткова, несомненно, окрасило бы монологи штабс-капитана в болезненные тона. Отгоняя в тайники души невольные мысли о провокаторе, Муравьев безусловно бы отметил

в своих презрительных филиппиках в адрес великой социалистической идеи ее «безрукое безумство», некую физическую ущербность, болезнь, калечность... И действительно, несколько раз контрразведчик говорил о «красной испанке», о «сыпняке большевизма», о «социалистической инфлюэнци». Но «безрукость» не предполагает подобных следов, она не веет бациллами, не заразна. И последний довод в пользу того, что провокатор не Чертков, — это полное равнодушие штабс-капитана к его броской фамилии. Вот где повод для убийственных аналогий с «чертовщиной», «бесовщиной». Он не удержался, чтоб не посмаковать «опереточную игру мефистофелей», но эта тема тоже никак не задела чувств штабс-капитана, а раз так, то следует простой вывод: фамилия Черткова ему неизвестна... Остались двое: Лобов и Станкевич...

По дальнейшим размышлениям Круминя оба — и Лобов, и Станкевич — одинаково подходили под истерическое определение контрразведчика: хам-пролетарий-подпольщик с заразной брошюрой. Оба — рабочие, оба увлечены революционной фразой, оба могли бы при известных обстоятельствах поранить воображение штабс-капитана небритостью, зацепиться колючими волосками в подсознании.

— Так что же в конце концов?! — с гневным нажимом и явно в последний раз спросил штабс-капитан, и, наверное, судьба Круминя сложилась бы совсем иначе, если бы не зазвонил телефон и капитана на минуту не отвлекли докладом о том, что неизвестным злоумышленником сорван трехцветный флаг над подъездом общедоступного театра... Алексей Петрович отдал соответствующие распоряжения и подарил еще несколько драгоценных секунд своему сопернику.

В последнем мысленном усилии Ян Круминь наконец-то поймал то, ускользнувшее было от внимания, самое сердцевинное слово-ключ, которое вдруг бесшумно повернулось в замке тайны.

Вот оно: «По слогам!»

А вся та мелькнувшая догадкой фраза штабс-капитана звучала так: «...и я гоню вас в три шеи на свободу. Пожалуйста, читайте ПО СЛОГАМ подпольные брошюры НЕГРАМОТНЫМ хамам... но второго прощения не будет, ясно?» Действительно, большая часть рабочих подпольной боевой дружины была, при всей классовой сознательности, малограмотна. Поэтому пропаган-

дистская работа включала в обязательное чтение вслух наиболее трудных политических брошюр и прокламаций... Провокатор штабс-капитана был малограмотен!.. Из всех четырех членов ревштаба только рабочий кузнечного цеха завода Леснера Василий Лобов читал по слогам...

Круминь на миг закрыл глаза. «Неужели?..» В душе Муравьева, в опасной толкотне его скрытых мыслей, в его тесной передней в старом трюмо у стены отразилось лицо провокатора.

Теперь Круминь знал, что нужно делать.

Муравьев бросил трубку на рычаг и сказал: «Ну-с».

— У меня есть разумное предложение, — ответил Круминь. — Сегодня вечером должно состояться первое расширенное совещание штаба нашей организации. Не удивляйтесь, приказ об этом я передал связному еще утром до ареста. Сегодня соберутся все руководители пятерок.

«Лиловый ничего не сообщил об этом, — подумал Муравьев, — дешевый трюк...»

— Дешевый трюк, — перебил штабс-капитан, — мне об этом ничего не известно, а я уже привык все о вас знать.

— Да, господин штабс-капитан, пока вам ничего не известно. Боюсь, что об этом вы узнаете от своего человека только завтра... Но будет поздно.

— Почему вы так уверены? — насторожился Муравьев.

— Очень просто. Понятно, что мой арест и сведения — дело рук вашего агента. Из требований конспирации я дал связному команду сообщить о срочном сборе членам ревштаба буквально за час-полчаса до условного времени и боюсь, что ваш протеже не успеет с вами связаться.

«Логично», — отметил на полях своих размышлений Алексей Петрович и поставил мысленную птичку-галочку.

— Короче, товарищ Учитель!

— Мне необходимо алиби. Я сообщаю вам адрес и час подпольной явки. О моем аресте еще никто не знает, кроме вашего поверенного в наших делах. Но вечером это станет уже известно всем, и тогда никого не поймать.

— Итак... — с досадой перебил штабс-капитан, играя прокуренным мундштуком.



— Вы привозите меня по нужному адресу. Дом, разумеется, будет незаметно окружен. Дадите мне время открыть совещание, а затем публично арестуете вместе со всеми. Получится, что я ни при чем, а завтра мне удастся бежать с вашей помощью. Все.

— Bravo, товарищ эсдек.

— Когда в руках весь штаб, — продолжал Круминь, — все вопросы отпадут сами собой.

Муравьев было задумался, но вопросительный знак в конце незаданного до сих пор вопроса зацепил его острым зубчиком — шестеренка повернулась, и штабс-капитан фальшиво произнес:

— Да, чуть не забыл, ответьте-ка, любезный, что за такой агент внедрен в штаб Добровольческой армии?

— Впервые от вас слышу.

— Я догадывался, что это ложь, — сказал Муравьев, брезгливо комкая губы, — в штабе одна белая кость. Они не станут пачкаться в большевистской грязюке... Я согласен. Адрес и час.

— Минутку, господин штабс-капитан, — продолжал свою партию Круминь. — Дайте честное слово офицера и дворянина, что устроите мой побег сегодня же ночью.

— А вы, я вижу, трусоваты... Так вот. Я не даю особых честных слов большевикам. Нателный крест не носишь — хватит и того, что я сказал. Итак, адрес и час?

— Монастырская, дом 16. У Дениса Соловьева в 9 часов вечера.

— Пароль?

— Балтика.

Теперь Алексей Петрович был совершенно удовлетворен. Он откинулся на спинку кресла и даже позволил себе вытянуть ноги в английских пехотных ботинках... Комиссар был аккуратно раздавлен. Нечто донкихотское решительно проступило в чертах штабс-капитанского лица, и ни злой демон Питон (дух прорицания), ни добрый ангел Анаель не напомнили Алексею Петровичу известный ему случай из истории контрразведки с фламандской мельницей, историю о том, как британский солдат-художник, делая во Фландрии в перерыве военных действий набросок с ветряной мельницы, заметил, что она вращается против ветра... Крылья ветреной судьбы уже давно не подчинялись правилам капитанской логики, и тем не менее Алексей Петрович наверня-

ка осложнил свое положение тем, что объявил социалисту свою волю следующим образом:

— Что же, господин марксист, домик мы окружим очень надежно. Это я вам гарантирую. А чтоб не было фокусов, я пойду с вами. — Алексей Петрович смотрел с вызовом. — Посижу с подпольщиками, послушаю товарищей, вас покараулю.

— Со мной? — растерялся Круминь.

— Да, с вами, — зло хохотнул Муравьев, — как верный московский агент из штаба Антона Ивановича.

Он уже решил было сказать о том, что сообщение о перехвате сигнала далеко от истины, но вместо этого вдруг крикнул через всю прямоугольную залу в приоткрытую для безопасности дверь, хотя можно было просто громко сказать:

— Острик! Уведи!

Вошел часовой Фомин, стукнул прикладом винтовки об пол, доложил, что Острик заступил на пост у подъезда.

— В караул... — дал команду Муравьев, кивая на арестованного.

Большевик спокойно встал, была в нем все же благородная сила, перед которой пасовал Алексей Петрович, он и сам это чувствовал. Иначе чем объяснить его упрямое нежелание сознаться в том, что перехват почтового голубя — блеф и надувательство. Выходит, что несмотря ни на что, Муравьев подспудно признавал в комиссаре человека, с которым нужно было соблюдать правила игры, поведения, тона... Эта внутренняя нерешительность злила Муравьева, мешала испытать удовольствие от неожиданно легкой победы.

Штабс-капитану давно пора было насторожиться, но интуиция и догадки не имели никаких прав в его сердце, которое можно было бы изобразить в виде строгого портика с симметричными колоннами по фронтому. Портика на краешке пропасти.

И землетрясение не заставило себя ждать.

Комиссар, часовой и штабс-капитан слышали крики на улице, затем винтовочный выстрел. В кабинет вбежал серый от страха, вездесущий унтер-офицер Пятенко.

— В окно, в окно, ваш благородь, побачьте! — вскричал он.

За окном, в просвете между камлотовыми шторами,

маячила человеческая тень, только невероятных размеров.

Даже спустя несколько часов и дней свидетели случившегося так и не сумели толком объяснить и даже просто рассказать по порядку о том, что же, собственно, произошло на самом деле. А невероятные слухи, распространившиеся по Энску, еще больше исказили и без того зачутанную картину чрезвычайного происшествия.

Во всяком случае, все свидетели единодушны только в одном: это невероятное событие началось с того, что около четырех часов дня к двухэтажному зданию бывшего Благородного собрания на Царской площади, прямо к подъезду, ведущему в белогвардейский штаб и канцелярию пехотного корпуса, подъехала телега с запряженной ломовой лошастью — першероном, из которой рыжебородый мужик-извозчик и господинчик неприятной наружности выгрузили прямо на булыжник огромную двухметрового роста механическую фигуру в шляпе типа канотье. Стоявший на посту у штабного подъезда молоденький часовой, рядовой Острик, был впоследствии наказан за то, что сразу не воспрепятствовал преступным действиям артиста Галецкого (это был, конечно же, он). При дознании Острик показал, что сначала он решил, что удивительная железная фигура оставлена согласно приказу, а когда попытался силой оружия подчинить преступника, время было упущено.

Сняв с поклажи рогожку и выгрузив удивительную механическую куклу напротив окна, которое указал господинчик (это было окно в кабинет штабс-капитана), извозчик мигом умчался от греха подальше, нещадно настигивая лошадь, а субъект в штатском открыл металлическую дверку в животе человекоподобного устройства и завел до отказа некую пружину. На законный вопрос оторопевшего часового Острика о цели прибытия тот ответил бранью на иностранном языке. Заподозрив неладное, Острик снял с плеча винтовку и только тут признал в господине иностранце того самого арестанта, который вчера в кабинете Муравьева легко снял с собственных рук наручники, а затем сбежал из подвала контрразведки. Только сейчас арестант был иначе одет и без усов. Взяв оружие на изготовку, часовой крикнул: «Стой! Ни с места!» И вот тут, словно очнувшись от неподвижности, механический атлет загудел, как заведенная мотоциклетка, повернул, как живой, голову на окрик часового, и Острик увидел круг-



лые стеклянные глаза под полями соломенной шляпы. Тогда, отпустив на миг курок, рядовой Острик перекрестился от страха. Господинчик при этом насмешливо рассмеялся и пошел по тротуару в сторону уличного угла, а механический человек, фырча, поднял рывками обе руки, в которых был зажат круглый металлический шар, и стал делать замах для удара по окну. Тип в штатском свернул за угол, и на всей Царской площади не осталось никого, кроме Острика с винтовкой наперевес да бабы в платке и механического чудища на тумбообразных ногах. Тут из окна штаба выглянула женская головка одной из ремингтонисток, раздалось испуганное: «ах», и тогда Острик и произвел свой первый и последний выстрел. Целясь в устрашающий автомат, он нажал спусковой крючок винтовки, которая, хрипнув, стрельнула не пулей, а... гирляндой мелких бумажных цветов, нанизанных на бечевку. Как они там оказались, часовой не знал. С перепугу он швырнул винтовку на булыжник и пустился наутек. Что происходило дальше, он не увидел. А между тем, как показались другие посторонние лица из числа тех, что появились к этому времени на площади, случилось следующее: механический автомат, грохоча как автомобиль и весь в сизых клубах выхлопных газов, нанес мощный удар стальным шаром по переплету, и окно разлетелось на мелкие кусочки.

Увидев тень за окном, штабс-капитан дернулся было рукой к телефону, но тут страшный удар по окну кабинета заставил его панически броситься к двери. Двойная рама оглушительно хрястнула. Стекла лопнули разом. Звонящий каскад осколков хлынул на паркет. Кабинет утонул в клубах мела и штукатурки. Гардина с портьерами хлопнулась на письменный стол. Телефонный аппарат брякнулся об пол. Любимая лампа в виде глобуса превратилась в стеклянную пыль. Муравьев оцепенел на пороге, глядя, как за рухнувшим окном в солнечном проеме сверкает само Возмездие — железное тело автомата и качаются на шарнирах маслянистые руки, стиснувшие стальной шар. Он забыл обо всем, даже о комиссаре. А вот унтер-офицер Пятенко показал себя более хладнокровным человеком, он прижал арестованного к стене, тыча в лицо рылом парабеллума. «Врешь, не уйдешь...» — шипел Пятенко. Куда делся из кабинета часовой Фомин, никто не заметил.

Тем временем поднятые по тревоге рядовые пехот-

ной части, которая находилась тут же на площади наискосок от штаба, в казарме юнкерского училища, бежали из ворот числом в 18 человек и открыли беспорядочную стрельбу из винтовок по чудовищной технической фигуре, которая стала медленно передвигаться вдоль фасада. Следующий удар был нанесен по окнам телеграфной комнаты. Пули не причиняли устройству никакого вреда... Здесь, пожалуй, самое неясное, самое темное и фантастичное место в описании этого происшествия. Часть солдат показала впоследствии, что внезапно все их винтовки вместо пуль стали выпускать фонтанчики разноцветной воды. Причем струйки начали бить не только из винтовочных стволов, но из прикладов, из подсумков, а у некоторых (например, у ефрейтора Аврина) даже из погон и фуражек. Цепь стрелков превратилась, на потеху сбежавшихся горожан, в феерическое зрелище из нескольких десятков больших и малых фонтанчиков (с подобными водяными номерами выступал в начале века известный японский иллюзионист Тен-Иши). Первым сумел преодолеть замешательство уже упомянутый выше ефрейтор Каллистрат Аврин, отбросив пришедшее в негодность оружие, он сделал шаг к железной машине и поднял в руке противопехотную осколочную гранату. На площади стало тихо. Только автомат продолжал равнодушно трещать мотором. Он как раз изготовился для нового удара (в корпусе самодвижущейся машины впоследствии был обнаружен двигатель внутреннего сгорания, снятый с фордовской легковой автомашины). В этот момент на крыльце штаба появился Алексей Петрович. Ефрейтор сорвал предохранительное кольцо и метнул снаряд под ноги механического атлета. Толпа еще ожидала сюрпризов, буханья хлопушки, например, но раздался самый натуральный взрыв, и железный Голем рухнул на мостовую. Оторванная нога чудища с металлическим грохотом покатилась по булыжнику... Алексей Петрович подошел первым. Под каблуками его сапог жалобно захрустело стекло. Из груди автомата торчали искореженные осколками листы железа. Кругом были разбросаны металлические внутренности современного Франкенштейна: свечи зажигания, поршневые цилиндры, трубки маслопровода. Из живота машины вытекал ручеек бензиновой смеси.

— Разойдись! — крикнул Алексей Петрович молчаливой толпе солдат и горожан.

(Все эти четверть часа, пока длилась ужасная сцена, унтер-офицер Пятенко держал комиссара под прицелом. И вот что любопытно: когда наконец Пятенко привел арестанта назад в бильярдную комнату, дверь импровизированной камеры оказалась взломанной и распахнутой настежь.)

Караул потревожил в высокой траве живое черное кольцо. Гадюка, оцепенев на солнцепеке, не сразу услышала конские шаги и очнулась лишь тогда, когда Караул занес над ней ногу, обутую железом.

Тяжелое копыто не успело размозжить змеиную голову — гадюка, извернувшись, подпрыгнула из сухого чернобыла, стремительно обвилась вокруг его передней правой ноги, но не стала кусать, а только зашипела.

Тсссс...

Караул резко остановился, и нервная дрожь пробежала по его коже. Он почувствовал, что обречен, и, повернув голову, одиноким огромным глазом посмотрел на холодную ленту, которая обвилась над копытом. Гадюка медлила с роковым укусом.

Прошло, наверное, полчаса, прежде чем окаменевший от страха беломраморный конь сделал первый шаг. Гадюка плотнее затянула черные петли вокруг плюсны. Какая-то неведомая сила сковала ее вечное желание кусать жертву, но стоило только жеребцу перейти на легкую рысь, как змея вновь зашипела, и Караул вернулся к осторожному шагу.

Конь шел к спасительной реке.

Его рот полыхал от жажды.

Его уши чутко слышали тонкое посвистывание воздуха в змеиных ноздрах — гадюка дышала мелкими ровными глотками. Прижав плоскую копьевидную голову, змея чувствовала, как пульсирует горячая кровь под кожей коня. Она тоже стерегла каждое движение Караула, встречая немигающим взглядом любой поворот лошадиной головы. Взгляд змеи страшен своей пристальностью, ее глаза не мигают, еще много тысяч лет назад змеиные веки срослись в прозрачное прикрытия наподобие стекла, которым закрывают часовой циферблат.

Несколько часов назад эта полуметровая гадюка выползла на солнце после линьки из мышиной норы. Измученная линькой, змея свернулась злой пружиной



в сухом ковыле, неподвижно следя, как вокруг нее копошатся теплые комочки живых существ (змеи могут чувствовать тепло на некотором расстоянии). Из оцепенения ее вывела проشمывнувшая рядом белобрюхая степная ящерица, змея опоздала с броском, но жадный толчок, от которого дернулось все ее тело, показал, что усталость прошла, что она полна прежних сил. Раскрутив лоснистые кольца, гадюка зевнула (змеи зевают) и устремилась по свежим следам пробежавшего поблизости зверька, брызгая в теплый воздух раздвоенным язычком и собирая крупницы легкого мускусного запаха.

Жирная полевка была укушена через несколько метров и тут же отпущена. Гадюка не хотела тратить впустую сил: ужаленная жертва далеко не уходит. Змея легко найдет ее по следу, который теперь станет пахнуть ядом.

Среди ядовитых змей гадюки обладают наиболее совершенным аппаратом для ввода яда. Ее два зуба плотно прижаты к нёбу, но стоит только змее открыть пасть, как зубы выскакивают в боевое положение, словно лезвия складного ножа. В стремительном броске гадюка накальвает жертву, и яд по каналу внутри зуба впрыскивается в кровь. У других видов змей яд просто стекает по борозде вдоль зуба и может разбрызгаться, поэтому жертву приходится кусать не один раз. Со всем не то у гадюки: обычно она поражает добычу с первого раза.

Змея выползла из густой травы на степную проплешину в чернобыле, где ее насквозь пропекало солнце... именно здесь ее и настигло конское копыто, от которого она сумела извернуться.

Тихий вечер в степи.

Терновый куст посреди полыни. Волны бурьяна и дикой конопли набегают на край дубового перелеска.

Низкое мохнатое солнце над горизонтом, как красноватое голубиное око. Его лучи уже не палят, а ласкают.

На белой конской ноге темнеет узкая лента.

Караул слышит свист иволги в туманной тисовой роще. Он чувствует близость реки.

Река уже была видна впереди, она пылала в закатных лучах млечно-малиновым светом. На другом берегу мерещился белый город, еще неясный как видение.

Отважный мотылек порхал невысоко над травой, он тоже мчался к реке, за которой маячила и его цель —

раскрытое окно на втором этаже неказистого дома в Николинском переулке. Когда он перелетал над одиноким кустом бересклета, то угодил в стаю летящих навстречу репейниц. Заметив летучий и пестрый вал бабочек, мотылек сначала резко свернул влево, пытаясь обогнуть многокрылую стаю, но репейницы накатывались широким фронтом, и мотылек стремительно полетел к земле, стараясь прижаться к макушкам степных былинков. Репейницы были уже совсем близко. Стая мерцала на солнце радужным сонмом машущих крылышек. Мотылек только хотел приземлиться на стебель дикой конопли, вцепиться покрепче шестью лапками за опору, как ветхое облачко накрыло его: он закружился в живом листопаде, заблудился в летящей толпе. От игры пестрых крапин на бархатных крыльях рябило в глазах. Роскошные репейницы были похожи на веера, парчовые переливы их крыльев подчеркивали сирий наряд одинокого паладина. Кружась и толкаясь в кутерьме летуний, мотылек наконец просто сложил крылышки и упал в разнотравье. Еще несколько минут облачко репейниц шуршало над ним, пока не скрылось вдаль, выронив несколько обессиленных страниц. Мотылек снова взлетел. Внезапно степная мурава оборвалась желтоватыми кручами речного берега. Заходящее солнце светило ему прямо в глаза, словно обдувало теплыми струями. Город с высоты полета виделся как бы скошенным к горизонту.

Мотылек был почти у цели.

На подоконнике, крашенном белой краской, пронзительно синее прозрачная банка. Чистое стекло изнутри кое-где тронут легкими мазками серебристой пылицы с крыльев порхающей пленницы.

Тем временем Катенька Гончарова свернула с Архиерейской улицы в Николинский переулок, вошла в подъезд двухэтажного дома с мезонином и стала подниматься по узкой старой лестнице в ту уже знакомую нам холостяцкую квартиру, где жил ее любовник, недавний студент Киевского университета, ныне дезертир белой армии Аполлон Чехонин.

На Катеньке был строгий атласный жакет с отделкой из черных бусинок стекляруса, широкая юбка-шестиклинка на лаковом поясе, на голове маленькая фетровая шляпка почти без полей с бархатным бантиком, на котором были нашиты глазки из того же стекляруса; на ногах начищенные туфельки-лодочки с открытой

пяткой, на руках — тонкие, заштопанные в двух местах, перчатки. К груди Катенька прижимала плоскую дамскую сумочку с угольной застежкой в виде карточного сердца червовой масти. Ей предстоял неприятный разговор, и потому Катенька была сверх меры густо надушена мужскими духами «Царский вереск» и обильно напудрена бело-розовой пудрой «Жермен».

Прежде чем впустить Катеньку в квартирку, Аполлон удивленно разглядел ее в щель почтового ящика. Затем дверь быстро открылась и тут же захлопнулась.

Аполлон молча, со строгим лицом, прошел в комнату. Он не просил прощения за свои слова и вел себя крайне бесцеремонно. Катенька закусил губу от досады, но прошла без приглашения прямо к раскрытому окну и в который раз заметила злополучную банку с марлевой крышечкой на подоконнике.

Банка эта стояла на брошюре «Демократические общественные движения в России при императоре Александре II».

В банке неумоимо билась о стенки маленькая цвет пыли бабочка.

Так вот, свой внезапный вечерний визит Катенька начала с того, что, тыча капризным пальчиком в сторону банки, сказала: «Фи, когда вы выбросите эту гадость?!..» На самом деле Катеньке никакого дела до бабочки не было, в ее словах подразумевалось совсем другое...

Сегодня утром между любовниками случился неприятный разговор, после того как Аполлон сентиментально заметил, что их роман навсегда останется для него «светлой звездой в сумраке жизни». Так Катеньке Гончаровой стало ясно, что Чехонин смотрит на их отношения в отличие от нее как на временную связь. Она тут же стала торопливо собираться, настроение ее резко переменилось, Аполлон понял свою ошибку, спохватился, попытался удержать ее, обнять, унять поцелуями, но было уже поздно... Катенька закатила ему бурную сцену, обозвала трусом, дезертиром, чокнутым недоучкой, а затем, наградив негодая Чехонина пощечиной, убежала навсегда, громко хлопнув на прощание дверью.

Тара-рам. Пробарабанили ее каблучки по деревянным ступеням.

Аполлон хотел броситься за ней, догнать, остановить и даже напялил студенческую фуражку, но вовре-



мя остановился. Его мог заметить гнусный дворник Ульянов или остановить для проверки документов первый попавшийся патруль. Отбросив фуражку в угол, Аполлон с сапогами плюхнулся на кровать, подложил руки под затылок, угрюмо уставился в потолок и неожиданно испытал... покой и облегчение. Кончилась одна полоса жизни — начиналась вторая. И сладкая тишина, и мирный шорох вязов из окна, и уютное тиканье настенных часов, и утренние солнечные лучи, блескующие на стене, — все это обещало ему в будущем покойную жизнь. Чехонину казалось, что его конспиративная квартира, как башня из слоновой кости, высится над пучиной времени. Там, внизу, кровь, смерть, гной, слезы, война; здесь, наверху, вечное солнце, книги с золотыми обрезами, ангелы, музы, бабочки, свобода... Он незаметно для себя заснул и сладко проспал до вечера, поэтому можно себе представить, во-первых, его испуг, когда в прихожей властно рывкнул дверной звонок, во-вторых, неприятное удивление от прихода Катерины Гончаровой. Разрыв явно затягивался.

— Стыдно, Аполлон Григорьевич, в вашем возрасте и в такое героическое время заниматься подобными пустяками, — продолжала свою нервную речь Катенька и даже коснулась рукой холодной банки с насекомым.

Ничего не отвечая, Аполлон взял и демонстративно поставил банку с пленной сатурнией на середину стола; молча полез сначала на стул, затем руками на шкаф, откуда снял круглую шляпную картонку и, поставив картонку на стол, открыл запыленную крышку.

Барышня с досадой наблюдала за его молчаливыми действиями через настенное зеркало, у которого она с нажимом подводила губы стеклянной сырой пробкой от флакона жидких румян.

Шляпная картонка имела два отделения: под круглой верхней крышкой находилось пространство для перчаток, которые крепились резиночкой ко второй крышке, под которой было отделение для самой шляпы. Сейчас в картонке с двойным дном хранилась любительская коллекция нимфалид и сатурний, собранная Аполлоном в 1916—1917 годах.

Чехонин отогнул край марлевой крышечки, поймал бабочку, вынул крохотное тельце, испачкав пальцы в скользкой пылице, и сказал Катеньке:

— Ваши упреки, Катерина, — плод нервного расстройства. Еще вчера вы прекрасно понимали, что мои

занятия энтомологией в такое время — это осознанное позерство свободного человека, который согласен подчиниться только собственной прихоти, но никак не расейским обстоятельствам. И вы были со мной заодно в этой игре над пропастью. Я не узнаю вас сегодня, Катя! Мои бабочки — это такой же вызов судьбе, как ваша новая лаковая сумочка, которую вы мечтали достать во что бы то ни стало и выменяли на рынке за штоф подсолнечного масла у какой-то голодающей модницы... Следить за модой сейчас! Разве это тоже не бессмысленно? Разве это не те же стыдные, по-вашему, пустяки? А подводить губы румянами, когда по ночам стреляют?

Чехонин покраснелся от возбуждения.

— Глупости, Аполлон Григорьевич. Я ведь женщина и невоеннообязанная. А женщина должна быть красивой всегда, чтобы нравиться себе и другим!

— В таком случае, — ответил Чехонин почти миролюбиво, — я тоже хочу нравиться самому себе. Моя модная сумочка — дезертирство с фронта, а мои жидкие румяна для губ — это марлевый сачок для бабочек. Вам идет короткая французская стрижка, а мне к лицу свобода... и не будем больше ссориться.

Аполлон выудил из той же банки энтомологическую булавку-минуцию и завертел бабочку перед глазами, выбирая место для рокового укола: мотылек как раз летел над серединой реки.

В это время штабс-капитан Муравьев с арестантом и унтер-офицером Пятенко ехали в коляске по Матвеевской улице в сторону городских окраин. За те полчаса с небольшим, что тряслись они сначала по булыжной мостовой, а затем по немощеным проулкам, вечернее солнце скрылось за линией горизонта и стало быстро темнеть. Когда они вышли из коляски на углу Монастырской и Киевского спуска — в двух шагах от конспиративной квартиры, все вокруг было погружено в легкие сумерки. Небосвод чернел на глазах, первые слабые звезды также скоро наливались блеском.

— Пшел! — торопливо крикнул штабс-капитан, и коляска покатила в сторону Десятинского монастыря. Пятенко поспешно поковырял в наручниках Учителя и, догнав коляску, неуклюже вспрыгнул на откидную подножку. Круминь потер затекшие руки... На что, спра-

шивается, надеялся председатель подпольного ревкома, когда прыгнул из коляски вслед за Муравьевым? На что можно надеяться, зная, что дом надежно окружен, что в правом кармане офицерского френча Муравьев демонстративно держит браунинг, что на губах штабс-капитана пляшет уверенная усмешечка? ...Ответ на этот вопрос знал только сам Круминь и гнал его в самые глухие закоулки души, чтобы ненароком не выдать свою тайну.

— Еще раз учтите, товарищ предревкома, — любезно сверкнул браунингом в лучах закатного солнца Муравьев, — без глупостей. Домик надежно окружен... Зыков! Боровицкий!

— Я, ваше благородие, — ответил голос из палисадника.

— Тута, — буркнуло из-за плетня.

— Вот видите, — дернулся Муравьев, — вас я пристрелю с огромным удовольствием.

Штабс-капитан потаенно нервничал. Инцидент с механическим Голиафом выбил его из привычной колеи логических чувств и рассуждений. Кроме того, ему что-то мерещилось неприятное, казалось, тень дурного предчувствия витает над головой. Он никогда не считался с нервами и прочей чепухой; около пяти он лично съездил сюда, на Монастырскую, и осмотрел местность. Дом, поле и огород на задах, ближе к реке, хорошо просматривались, например, из баньки, весьма удобной для устройства засады. Коровник и вишневый сад, примыкавший к монастырской стене (сейчас в кельях и трапезных размещался военный госпиталь), позволяли окружить объект вечером незаметно и со всех четырех сторон. И все же...

Муравьев начертил в блокноте план местности. Большим правильным квадратом обозначил Десятинский монастырь, маленьким — дом подпольщика. На квадратный прямоугольник был поставлен условный топографический флажок с медицинским знаком в виде креста и полумесяца — госпиталь, и тут же обозначен особым значком расположенный на огромном открытом монастырском дворе временный полевой аэродром 3-й авиароты. Затем он аккуратными крестиками наметил расположение рядовых в засаде. Соединил черные крестики твердой карандашной линией, и на схеме получилась такая идеально правильная петля, почти затянутая вокруг дома. Петля с хвостиком (в баньке был установ-



лен пулемет «льюис». В одной тарелке — 48 патронов) была похожа на цифру 6, и Муравьев сравнил ее в уме с химической ретортой. Это успокаивало. Дом, ставший просто квадратиком, река, превратившаяся в волнистую линию со стрелкой направления течения; люди в виде отдельно торчащих крестиков — словом, план внушал Муравьеву уверенность в успехе операции, там исключались разные безобразные случайности.

И все же настроение у штабс-капитана было препаришное. Несколько раз он ловил себя на мысли, что раскаивается в скоропалительном решении собственной персоной явиться на заседание штаба, а к вечеру мозг штабс-капитана затопила горечь, тревога... Чем яснее Алексей Петрович понимал, что риск очевиден, тем злее гнал от себя приступ желания переиграть назад, сделать рокировку. Дать повод проклятому большевику поймать, нет, даже просто заподозрить дворянина, белого офицера в трусости?.. Сама тень этой мысли была невыносима Алексею Петровичу. Сегодня наперекор всем обстоятельствам дня он, как никогда, хотел верить в свою особую счастливую звезду...

А в этот момент, когда коляска Муравьева откатила от штаба на Царской площади, когда Энск был еще залит малиновым светом заходящего солнца, вчерашний студент, энтомолог-любитель Чехонин поднес к близоруким глазам бабочку сатурнию «малый ночной павлиний глаз» и наколол ее булавкой, воткнул в пробковую щель на коллекционной рамке, затем широкими полосками полупрозрачной бумаги плоско закрепил распластанную бабочку на дощечках, подложил под брюшко ватку и выправил черные крылышки.

Устремленный к пленнице мотылек вдруг, словно споткнувшись на лету, словно ударившись со всего размаху в незримое стекло, стал, кувыркаясь, падать вниз, на водную гладь. Может быть, последние силы внезапно оставили его, или он почувствовал, что больше ему незачем жить, что его никто не ждет впереди? Может быть, студент с булавкой положил предел его порхающей жизни? Мотылек выпал снежинкой из вечернего поднебесья, озаренный печально-золотым лучом закатного солнца. Сверкая серебристыми крылышками с бархатисто-черной изнанкой, цепляясь шестью лапками за скользкий холодновато-голубой обрыв воздуха, мотылек стал падать в воду. Его непослушные крылышки еще продолжали машинально рулить, то на миг исправляя

смертельный крен, то вновь уступая безостановочному падению.

Речная твердь приближалась.

Крылышки мешают отвесному падению, и мотылек падает, медленно кружась, как бы вальсируя...

А на правом берегу в воды Донца входит одинокий молочный конь под кавалерийским казачьим седлом с высокой лукой.

Мчится береговая ласточка.

Возле прибрежного островка осоки и шпажника брезжит в воде морда сома, образуется жадная водяная ямка, водоворот. Глазастая рыбина следит за полетом ласточки, которая, кажется, нацелилась клювиком на мотылька.

Удивительная жизнь у обычного мотылька. Только представьте эту метаморфозу: крохотное яйцо в сонной полудреме, закутанное в трубку, склеенное бабочкой-самкой, и рождение жадной пупыристой гусеницы, у которой одна цель: сосать, грызть, обглаживать. И вот...

Летит, вибрируя от взмахов собственных крыльев, вчерашнее жадное брюшко. Летит над рекой к городу, в двухэтажный деревянный дом с мезонином, в распахнутое настежь окно, где на облупленном подоконнике лежит ветка ярко-белого жасмина с червенно-желтой сердцевинкой свещающегося цветка, там тебя ждут...

Но мотылек упал в водный поток.

Стремительная береговая ласточка-касатка хотела выхватить его раскрытым клювиком из воды и чиркнула по волне левым крылом. Но сом выглянул из речной толщи и захлопнул толстые губы. Птичье крыло защемила рыба пасть.

Несколько секунд сом плыл, а ласточка билась об рыбу глубину свободным правым крылом и прутиками раздвоенного хвоста.

Услышав отчаянный писк птицы, плывущий конь Караул оглянулся, но увидел только расходящиеся по воде концентрические круги...

Солнце зашло. Над Донцом стали густеть синеватые сумерки. С борта колесного парохода «Николаев», который стоял на якоре неподалеку от берега у железнодорожного моста, вахтенный матрос заметил одинокого коня, переплывающего реку. Сначала ему показалось, что рядом с лошадью в воде плывет человек, но в би-

нокль он успел рассмотреть в пабегающих сумерках, что ошибся — конь плыл в одиночку.

Как только Караул, хромя на переднюю ногу, вошел в спасительную воду, гадюка разжала свои кольца. Теплая река приятно окатила ее пыльное и прохладное тело, и змея не ужалила коня, а, пежась, поплыла вдоль берега. Но тут же угодила в стремнину, которая вынесла ее сначала на середину реки, а затем к противоположному берегу.

...Она выползла по корням подмытой ивы и поползла от берега в заросли бурьяна, где свернулась чутким живым капканом.

Конь тем временем уже почти переплыл реку, он ясно различал в стремительных сумерках сад, крышу дома, чувствовал слабые запахи берега, сладкий дух родной конюшни... Эта конюшня была обозначена на схеме в блокноте Алексея Петровича в виде равнобедренного треугольника с литерой С посередине. С означало: сарай... Судьба неумолимо стягивала живое кольцо вокруг западни штабс-капитана Муравьева — с такой упругой силой закручивается часовая пружина во время завода.

Муравьев медлил прятать свой именной браунинг, взвешивал в руке его холодную тяжесть и с раздражением смотрел, как несносно лоснится полоса ночной реки, как нацеленным дулом глядит луна, как что-то неприятное посвистывает и поскрипывает в траве, бойко перемигивается в кустах жимолости, облитых фосфорическим светом. Штабс-капитану не нравилось это вечное жадное чавканье жизни, и только в небесах глаз успокаивался, легко читая неподвижные очертания созвездий: Стрелец... Лира... Персей... Большой Пес и его альфа — Сириус, самая яркая звезда полушария...

— Вас я пристрелю с огромным удовольствием, — повторил Муравьев, одновременно сопротивляясь желанию пристрелить свидетеля своих сгоряча вырвавшихся слов и предвкушая то удовольствие, с каким он отпустит Учителя на все четыре стороны после успешной операции. Отпуская (вот оно, слово дворянина!) комиссара на свободу, штабс-капитан сделает из грозного предревкома пустышку, пустячок, который уже никоим образом не отразится на неминуемой победе сил вековой устойчивости и порядка над красным хаосом революции.

После двухдневного заточения в осточертевшей биль-



ярдной комнате Круминь особенно остро чувствовал спасительную необъятность теплой августовской ночи. Ночь словно обнимала его. Он шел, поглядывая вверх, в ночное небо, и ловил себя на мальчишеском желании оттолкнуться от земли и полететь, раскинув руки. Это внезапное желание не было странным — Круминь понял это, услышав со стороны Десятинского монастыря слабое жужжание авиационного мотора. Там, на огромном мощеном дворе, находился полевой аэродром, и, видимо, механик прогонял после ремонта двигатель на холостых оборотах. До него даже долетал почти неразличимый в степном полынном воздухе запах бензина и отработанного масла. А вместе с запахом пришло и то давнее, забытое волнение, которое он обычно переживал в момент взлета или когда выключал для свободного полета — волю планэ — даймлеровский мотор и бесшумно парил в моноплане Таубе над корпусами варшавского завода «Авиата», планируя на зеленую площадь Mokотовского аэродрома, где, как стрекозы, сверкали на солнце «фарманы», «блерио», «райты», «зоммеры», «нюпоры», «сопвичи», «демуазель», «куртисы»... Чувство слитности с небом было одним из самых ярких ощущений его жизни.

Круминь прибавил шаг.

Ночь кипела. В речной воде роились серебристые рыбки блики. Седая зелень садов колыхалась от ветра в лунном сиянии. В траве копошились жуки... В воздухе пересвистывались птицы...

На фоне хора цикад то гас, то вновь вспыхивал стригущий голос сверчка.

Муравьев первым подошел к ограде соловьевского дома, спрятал в карман браунинг.

На окошке, выходящем во двор, горела керосиновая лампа. Условный знак входящим, что все в порядке, что дом ждет поздних гостей.

— Прошу вперед, — с ядовитой любезностью пропустил комиссара штабс-капитан и даже руку выбросил перед собой.

Штабс-капитан, переодетый в нечто штатское, шел за Учителем и даже принялся насвистывать про себя какую-то сентиментальную песенку.

Миновав калитку и оказавшись внутри геометрически правильной петли 6, Алексей Петрович испытал внезапное облегчение. Здесь, на прямой тропинке к крыльцу, под охраной нижних чинов, он был действи-





тельно спокоен. Он еще не знал, что ту малую чашу порядка, отпущенную ему на роду, он уже испил до конца, до самой последней капельки, и что за калиткой осталась навсегда его прежняя жизнь, например, его географическая карта, которую он считал Россией, его городок в табакерке с милыми сердцу игрушками, например, эластичные подтяжки фирмы «Окрон» или гигиенический мундштук «Антиникотин», который по способу немецкого профессора Гейнц-Гернака поглощает 92,3 процента никотина, или бумажные войны во втором ящике кабинетного стола. Вся эта жизнь карманного формата отныне раз и навсегда осталась позади. А сам Муравьев, не замечая того, сначала по колено, затем по пояс, по грудь, по горло и, наконец, с головой вошел в темную и великую реку Времени.

Он шел, насвистывая про себя песенку, поигрывая в кармане браунингом, нервно наслаждаясь тем, что все идет по заранее намеченному плану, а жизнь уже смеялась над ним, уже вдребезги была разбита его геометрическая реторта, и время остановилось, уже не подчиняясь тиканью его серебряной луковицы на трех крышках во внутреннем кармане.

Контрразведчик, штабс-капитан Муравьев шел к крыльцу, поглаживая в кармане холодную рукоять пистолета (в обойме семь пуль; на ручке вытравлена надпись: «Алексашке, другу юности, князь Львов-Трубецкой»), и не знал, что, говоря его же словами, попал в лапы хаоса, и теперь вся его стратегия и тактика зависят, например, от таких смехотворных пустяков, как шляпка гвоздя, вылезшего на добрую четверть вершка из ножки расшатанного стола, или от спящего на насесте в сарае черно-рыжего петуха с золотым текучим хвостом, а может быть, еще от чего-то незапланированного штабс-капитаном...

Скрипнула дверь, и на крыльцо вышел хозяин.

— Кто? — негромко спросил он.

— «Балтика».

— Проходите, товарищи.

Соловьев поздоровался с Круминым крепким рукопожатием и пристально глянул из-за его плеча на Муравьева. Тот кривился в усмешке.

Проходя через сени, Круминь метнул осторожный взгляд на низкую боковую дверь, запертую на массивный медный крюк. Эта дверь вела в крытый дворик, где и торчал сруб заветного колодца... Расстояние от двери



до колодца можно было бы преодолеть в два прыжка. Внезапно он почувствовал прикосновение руки Дениса Соловьева: в пальцы нырнуло что-то скользкое и холодное — гильза!

Гильза!

Значит, почтарь долетел... значит, завтра или...

Но думать не было времени. Хозяин уже открывал дверь в комнаты, и Круминь еле-еле успел сунуть гильзу в карман.

В задней большой комнате, выходящей окнами в огород, за длинным столом с двумя керосиновыми лампами сидел, нахохлившись, усталый Фельдман. Круминь вполголоса представил ему своего спутника, но Яшка не обратил на Муравьева особого внимания. Да и не место было разглядывать друг друга, хотя и виделись впервые.

— Что-то душно, — негромко сказал Круминь и спокойно распахнул оконные створки в ночь. Муравьев хмуро взглянул: «Без глупостей!»

Яков перехватил этот раздраженный взгляд и насто-рожился: было в этом нечто странное.

Штабс-капитан прошел вдоль дощатого стола в угол и сел на табурет с серповидным вырезом для руки. Отсюда хорошо просматривалась вся комната, да и сзади подойти к Муравьеву было невозможно. Кроме того, он чувствовал легкий озноб, проходя мимо окна, на которое сейчас нацелен «люйс» пулеметного расчета под началом расторопного ефрейтора Аврина. Вытянув ноги, Муравьев пододвинул лампу поближе к себе. «В случае чего — под стол», — подумал Муравьев. Пододвинул лампу поближе к себе и цепко посмотрел на комиссара, предупреждая взглядом попытку написать что-нибудь на клочке бумаги.

Их глаза встретились.

Словно невзначай, Муравьев прошел рукой вдоль расстегнутого полувоенного кителя в карман, встретил пальцами успокаивающий холодок боевой рукоятки, и вот здесь-то край правого рукава и скользнул по шляпке гвоздя, вылезшего на добрую четверть вершка из ножки расшатанного стола.

Муравьев небрежно бросил на центр голого стола портсигар, инкрустированный двухглавым царским орлом (тоже одна из любимых игрушек) — курите! Он мысленно проаплодировал даже этой маленькой хитрости, выгадывая те доли секунды, которые понадобятся

ся большевикам, чтобы побросать папироски, прежде чем схватиться за оружие. Он по-прежнему не замечал, что секунды побежали с другой скоростью — гораздо медленнее, чем прежде...

...Конь почувствовал под ногами речное дно и стал, фыркая, выходить из воды на пологий песчаный плес. Затем встряхнул сырой гривой, хвостом, разбрызгивая холодные капли, и втянул чуткими ноздрями воздух. Дорога вывела к дому, он не ошибся. Пахло родной конюшней, где рядом в стойле стоял бык с обломанным рогом. Вскрапнув, Караул стал подниматься к заветной тропке, которая вела мимо баньки и огородов к дому. В баньке был установлен пулемет, и его рыло смотрело сейчас на горящее в темноте окно. Увидев идущую к баньке белую оседланную лошадь, пулеметчик вспомогательной роты 36-го пехотного полка Куприян Капитонов вытаращил глаза от удивления, но насчет лошадей и прочего домашнего скота никаких указаний не было, и он растерялся.

Муравьев закурил от керосиновой лампы, французская папироска вспыхнула веселым огоньком, штабс-капитан глубоко затянулся; рядовой Зыков, поставленный в засаду, прокрался через грядки укропа поближе к сарайчику, крытому соломой и дерном, и спящий на насесте петух вздрогнул от ясного скрипа яловых сапог; Фитька, дремавший под навесом, тоже встрепнулся от подозрительного шороха; старый бык переступил ногами.

Унтер-офицер Пятенко, несмотря на строгий запрет штабс-капитана, не стал слишком далеко отгонять коляску от ворот окруженного дома. Заметив ее в конце спуска, Лиловый насторожился и, вернувшись на угол Монастырской улицы, долго стоял в полумраке палисадника, слушая лживую тишину августовской ночи, плеск воды у берега, ровный стрекот цикад. Стайка нетопырей вылетела из монастырских чердаков и принялась носиться в холодных потоках луны. Только когда мимо прошел сначала один человек, а за ним и второй и оба по очереди зашли в дом — скрипнула калитка, затем крыльцо, хлопнула дверь, — только тогда Лиловый вышел из укрытия и решился зайти во двор, на свет керосиновой лампы за оконным стеклом, вокруг которого клубился пар мошкары. Рядовой Зыков, пробравшись к сарайчику, присел на корточки, прислонившись спиной к двери и положив винтовку на колени, — ему захотелось курнуть. Жирный кукушонок, еще с начала лета посе-

лившийся в дупле турецкой вишни с узкой горловиной, из-за которой он так и не смог выбраться на свободу, проснулся в своей темнице. А разбудил его рядовой Жучков, который шумно отломил тонкую веточку вишни — поковырять в зубах, он уже истомился в засаде. Услышав хруст, кукушонок подал с испуга голос и разбудил птицу славку, которая, вылетев из-под стрехи, принялась носиться в темном воздухе над вишнями.

Зыков заметил, что по двору к крыльцу прошел еще один человек, кажется, четвертый или пятый.

У крыльца Лиловый неожиданно споткнулся и задел сапогом дождевую бочку, на дне которой нежилась в лужице грудастая жаба. Его мучили дурные предчувствия. Получив недавно срочный приказ от связанного немедленно явиться на заседание штаба и пароль, он было рискнул позвонить из аптеки штабс-капитану, но проклятый аптекарь не отходил от него ни на шаг, и Лиловый, ничего не ответив на вопрос дежурного телефониста, положил трубку. Он боялся идти на заседание, но понимал, что идти должен, иначе Муравьев снимет голову.

От удара сапогом в бочку жаба очнулась от дремы и чуть не расквакалась. Фитька давно сидел с открытыми глазами, чутко слушая враждебную тишину, в которой то и дело раздавались таинственные шорохи. Светлячок перелетел с одного листа лопуха на другой и вновь пустился вверх по рыхлой и пыльной круче.

— Это наш гость, — представил тем временем Круминь Муравьева вошедшим друг за другом Черткову и Станкевичу. Они насторожились, увидев человека офицерской наружности в полувоенном буржуйском кителе, — тоже подпольщик.

— Немезидов, — в очередной раз представился штабс-капитан Муравьев, любитель параллелей, и кисло усмехнулся. Эти варвары, считал он, конечно же, не могли разгадать сей нехитрый намек вымышленной на ходу фамилии на ту силу неотвратимого возмездия, с какой поражает Немезида, богиня кары. Он почувствовал себя последней твердыней духа в море хаоса.

Круминь был благодарен Соловьеву за проявленную предосторожность при передаче почтовой депеши и мучился от того, что, кроме него, никто не сможет прочесть шифровку — значит, в предстоящей схватке он должен уцелеть. Уцелеть сам и сохранить боевых това-



рищей, всех, кроме одного... Он с нетерпением ждал Лобова-Лилового.

Караул, направляясь знакомой тропкой к дому, где горел свет в распахнутом окне, услышал со стороны баньки знакомое по боям звяканье пулеметной ленты. Звякнуло один раз, второй... конь остановился, чутко прядая ушами.

Последним в комнату вошел Лилловый.

Круминю важно было перехватить инициативу, и он поспешно обратился к нему:

— Садись, Василий, на мое место. А я поближе к лампе.

И нарочито шумно, с деланной неуклюжестью, стал пересаживаться ближе к двери.

Увидев в комнате арестованного еще позавчера Учителя и штабс-капитана, Лилловый опешил. Круминь принялся с самым равнодушным видом подкручивать фитиль в лампе. Сердце его билось сильными толчками. Только Чертков заметил, что лицо Лилового-Лобова дернулось в перепуге, и он заподозрил неладное.

«Садись и молчи!» — взглядом приказал Муравьев агенту.

Пулеметчик Куприян Капитонов толкнул локтем ефрейтора Аврина, кивая на белого коня в двух шагах, где был установлен пулемет: сами они лежали на полу — ногами в предбаннике, головой к «льюису». Ефрейтор пожал плечами: шугануть дурного коня сейчас, пока еще нет сигнала к атаке, было нельзя.

Караул, почуяв людей и металл, тихо заржал и прибавил шаг, направляясь прямо к окну, откуда он иногда получал от хозяина хлебную краюшку, если тот бывал в хорошем настроении.

Лилловый машинально сел на место комиссара, его прошиб такой ужас, что спина коломянковой рубахи потемнела от пота.

— Кажется, все в сборе, товарищи. Можно начинать.

— Пора уж, — протянул Муравьев, ни к кому не обращаясь. Ему уже стала надоедать вся эта пошлая оперетка. Он демонстративно достал из кармана круглые часы-луковицу, нажал плоскую кнопку, пружинка вытолкнула крышку из гнезда и показала перламутровый циферблат: до начала операции оставалось девять минут.

— Товарищи! — сказал комиссар. — Сегодня впер-

вые наш революционный штаб собрался в полном составе. Наступление белой армии на Москву обречено на провал. Революцию рабочих и крестьян против капитала не остановить, идеал справедливости непобедим...

Муравьев поморщился и одновременно удивился про себя тому сильному эффекту, который производил этот неожиданно высокий строй слов большевика. Казалось, комиссар говорит на новом языке.

— Сегодня наступил решающий час и для нас. Со всем скоро потребуется все наше мужество...

Чертков пристально вглядывался в Муравьева, он чувствовал нарастающую неприязнь к вызывающему виду, с каким тот держался за столом среди товарищей по классовой борьбе, к холеным пальцам, которые внятно барабанили по столу. Денис Соловьев услышал хруст картофельной ботвы в огороде. Пушистый огромный бражник залетел на свет в комнату и зашуршал под потолок, пудрясь тельцем и крыльями о беленый потолок. Рука Лилового осторожно нащупала револьвер за ремнем, под рубашкой: он понял, что миром заседание не кончится и что дом, видимо, окружен. Что ж, он постарается выстрелить первым. Рядовой Жучков отошел от турецкой вишни, пробрался поближе к глухой стене дома: он караулил северную сторону. Садовая славка подлетела к дуплу с кукушонком. Караул уже вплотную подошел к окну, и пулеметный расчет в составе ефрейтора Аврина и рядового Капитонова смотрел на коня вытаращенными глазами.

О привычке Караула совать морду в окно, выклянчивая угощение, знает только сам хозяин — Денис Алексеевич Соловьев. Стоит ему только выглянуть в окно и увидеть оседланного коня без сына в седле, как краска ударит ему в лицо, недаром снился ему под утро тревожный сон: истекающий кровью Сашка на земле, белый Караул в степи и огромный, как облако, голубь. Голубь летел к дому, и крылья его озарялись иссинялым пожаром, который стлался по земле.

— Ближе к делу, — прервал властным голосом Муравьев и осекся.

В распахнутое окно втиснулась лошадиная голова и звонко заржала.

Наступило минутное замешательство. Соловьев помертвел.

— Братцы! — крикнул вдруг Круминь с яростью. —

Смерть провокатору Ваське Лобову и его белопогонику!

...Как покойно прямое течение горящей свечи, но попробуй накрыть пламя ладонью... «А-а-а», — хрипит штабс-капитан, поняв, что его провели, вскакивая со стола и пытаясь выдернуть из кармана браунинг, но проклятый рукав намертво зацепился за гвоздь, за какую-то дурацкую шляпку гвоздя, и, катастрофически опаздывая, Муравьев не столько тащит пистолет, сколько выдирает из рукава френча лоскут материи. Лило-вый-Лобов вскакивает с места, роняя стул, его вмиг расквасившееся лицо дрожит как студень.

— Предатель, — визжит он, тыча пистолетом, — эта гнида — офицер! Это он, он, а не я... — Лиловый нажимает курок, целясь в Муравьева, и мажет. Круминь хватается обеими руками стол и переворачивает его вместе с лампами. Чертков падает вместе со стулом на пол. Караул шарахается от окна. Станкевич, стоя у стены, целится в штабс-капитана. Круминь выбивает из руки провокатора наган, Лиловый бросается к двери. Станкевич стреляет первым. Но пуля из его револьвера вонзается в стену. Выдрав наконец именной браунинг, Муравьев отвечает на выстрел Станкевича. Пружина освобождает боек, который бьет по капсюлю патрона и взрывает столбик спрессованного армейского пороха. Свинцовая раскаленная пуля из ствола муравьевского браунинга пробивает навывлет голову Станкевича. Чертков с пола тянется единственной страшной рукой к ноге штабс-капитана.

— Всем уходить за мной! — хрипит Круминь. Разбитые падением керосиновые лампы плещут на пол пригоршнями пламени. Фельдман бросается вслед за Лиловым к двери. Рука Черткова железной клешней вцепилась в сапог штабс-капитана.

Услышав выстрелы, солдаты из оцепления бегут к дому, а командир пулеметного расчета Аврин приказывает пулеметчику Капитонову открывать огонь. Караул скачет от окна прямо к баньке, на пороге которой сверкает что-то ужасное, железное. Лиловый выскакивает в сенцы, но, зная о засаде, не выбегает на крыльцо, а, присев, осторожно распахивает дверь. Рядовой Зыков видит, как отворяется дверь, как выползает на животе на крыльцо человек и, почти не целясь, стреляет мимо.

— Дом окружен! За мной! — кричит Круминь, под-



бирая лобовский наган. Пламя растекается под опрокинутым столом. Соловьев и Фельдман выскакивают в сени.

— К колодцу! — восклицает хозяин и сбрасывает медный крюк с боковой дверцы во внутренний двор. Алексей Петрович от страшного рывка однорукого дьявола падает всем затылком на пол, и на миг его глаза затоплены мраком.

Пока деревенский пастух, а ныне пулеметчик вспомогательной роты 36-го пехотного полка Куприян Капитонов не может заставить себя открыть огонь по ни в чем не повинной лошади, которая, шарахнувшись от окна, заслонила сейчас дом, Чертков выбегает вслед за Круминым в сени, оглядываясь на тело Станкевича, Соловьев сбрасывает с колодезного сруба маскировочные доски и прочий хлам, Лиловый перепрыгивает через плетень и заползает в бурьян, зная, что впереди засада, и надеясь переждать время.

Кукушонок снова орет в темнице.

Славка отчаянно носится над турецкой вишней.

Жаба испуганно бурчит в пустой дождевой бочке.

Фитька кружит над крышей.

Старый бык, почуя огонь и дым, обрывает сыromятную привязь и, выбежав из стойла, распахивает каменным лбом воротца хлева. Створки опрокидывают прислонившегося рядового Зыкова. Ефрейтор Аврин бьет кулачищем в спину оцепеневшего пулеметчика: «Огонь!»

Соловьев, Фельдман, Чертков и последним Круминь по очереди спускаются по вбитым в бревна скобам колодца. Рядовой Жуков, целясь и отмахиваясь от садовой славки, стреляет по столпившимся у колодца подпольщикам и не попадает.

Штабс-капитан, выбегая на крыльцо, орет:

— Пятенко! — и отчаянно палит вверх.

И тут оживает «люйс», извергает на дом смертоносный ливень. Под градом свинца лопаются стекла. Смерть вслепую шарит в горячей комнате, пытается зачеркнуть все живое взмахами свинцового грифеля. А жизнь не сдается: бьется языками пылающего керосина, трубит петушиным горлом, грозит змеиным шипом в чертополохе, накатывает свежим ветром, колет лучом полуночной звезды...

— Товарищи, — Круминь в эту минуту страшен, —

здесь выход на монастырский двор. Всем уходить. Я прикрою.

— Нет, комиссар. Лезь! — командует Чертков. — Я после.

Но Круминь непреклонен:

— А ну, лезь! Кому говорят...

Лиловый на карачках ползет сквозь пыльные заросли чертополоха и, пораженный вкусом змеи, выскакивает прямо на выстрел.

Круминь захлопывает над собой деревянную крышку колодца и начинает спускаться по скобам вниз, туда, куда звонкими шлепками падают капли. Внизу, у самой воды, крошечная темнота разрезается слабым свечением. Чьи-то руки ловят комиссара и увлекают за собой в боковой ход. Это Соловьев. Внезапное появление коня Караула наполнило его сердце страшным предчувствием. Он сдергивает с крючка фонарь (это его тусклый свет рассеивал темноту) и, согнувшись, хочет бежать вглубь. Потайной монастырский лаз облицован сырым камнем, и каждый шаг отдается гулким эхом заброшенной преисподней. Но Круминь, догнав Соловьева, хватает его за плечо:

— Стой! Посвети сюда...

Он достает из кармана медную гильзу от винтовки образца 1891 года, вытягивает из нее скрученную пыжом бумажку, разворачивает и читает приказ, написанный красным топографическим карандашом, кривыми условными буквами.

Шифровка гласила: «Раннее утро усекновения Иоанна Предтечи. Прикрыть переправу полка огнем бр-да с моста».

— Бр-д — означает бронепоезд «Князь Михаил». Иоанна Предтечи — означало день штурма, то есть 29 августа, — завтрашнее утро.

— Ваше благородие, — раздалось над ухом.

Алексей Петрович оторвал руки от лица. Перед ним стоял верный Пятенко и протягивал офицерскую фляжку в брезентовом чехле.

— Глотните.

— Пошел вон... — Штабс-капитан оттолкнул фляжку.

Он сидел на грязной подножке легкой коляски.

Дом посреди ночи пылал огромным алым клубком: большевики исчезли, словно провалились сквозь землю.

При осмотре местности в бурьяне был обнаружен труп агента. Кроме него, потерь не было, если не считать легкого ранения одного из пижимих чинов шальной пулей. Кобыла, запряженная в коляску, вновь заржала, испуганно косясь на близкое пламя. Заржала, как тот дурной конь, который сунул свою морду в окно в самый неподходящий момент и исчез... Алексей Петрович что есть силы хлопнул кобылу по холке. Это ржание показалось ему похожим на странный смех, смех Немезиды.

Стоя передними ногами в зеркальной воде, на речном плесе, Караул жадно пьет прохладную, пахнущую водорослями, осокой и рыбой влагу. Конь тяжело дышит и ежится — по груди стекает теплая струйка крови в том месте, где чиркнула по коже льюисовская пуля. В небе над ночной степью вспыхивают и стремительно гаснут падающие болиды. Конь тревожно поднимает от воды молочную голову. В дни августа Земля пересекает в космосе метеорный поток Драконид: вновь и вновь прорезаются в необъятном пространстве короткие дымные струйки вселенского дождя. По степи стороной идет ночная гроза. Конь слышит ее далекий рокот. С лошадиной морды сбегает вода.

Внезапно из темноты вылетает белая птица и, покружив, опускается на привычное седло с крутой лукой. Дальняя гроза слышится все глуше и мягче. Медленно закрываются небесные скрижали, и в свежей тишине слышится только один неясный звук — это шевелится, запутавшись в конской гриве, бабочка.

А на небосводе дивно и грозно сияет Сириус — пролетарская звезда.

...Ровно в пять часов утра взвилась над лесом красная ракета, лопнула в рассветном небе, и кавалерийская дивизия Коминтерна двинулась на штурм. Кони шли ровным аллюром, грудь в грудь, революционная дивизия спускалась к реке тремя прямоугольными группами с двумя пулеметными эскадронами на флангах; отдельная пехотная рота наступала вдоль взорванных путей к железнодорожному мосту через Донец. Белый городок на правом берегу был еще окутан ночной дымкой, казалось, что он спал, но не успела еще истлеть в небе алая звездочка, как из-за портовых пакгаузов, с



парохода «Николаев», стоявшего на якоре посреди неширокого Донца, и с моста взлетели в небо три ответные ракеты, донеслись тревожные трели боевой трубы, и с противоположного берега ударила батарея; рывнула легкая пушка с палубы парохода: белые были готовы к атаке и встретили конницу дружной шрапнелью по центру дивизии. Строй всадников нарушился, а пехота залегла, наткнувшись на кинжальный огонь трех пулеметов в окопчиках у моста. Атака красной дивизии наткнулась на серьезное сопротивление... Предупреждение контрразведки о возможном в ближайшее время штурме все же сыграло свою роль: белых не удалось застать врасплох.

Тем временем на мост выкатился с тяжким пыханьем короткий тускло-серый бронепоезд «Князь Михаил» из четырех броневых вагонов и... кавкомиссар, затаив дыхание, смотрел в бинокль, как грузно вращаются тяжелые жерла, отыскивая цель: неужели и здесь неудача?.. Угробно рывкнули сразу два орудия, и слева и справа парохода посередине Донца выросли водяные столбы: бронепоезд бил по белым! От неожиданности замолчала вражеская батарея у причалов, шарахнулся от легкой пушечки на палубе «Николаева» орудийный расчет. Комдив Шевчук только молча сопнул носом: комиссарова затея удалась — бронепоезд был в руках подпольщиков, на его глазах выступили слезы. «Так их, гадов!» Бронепоезд, фыркая огненным поддувалом, докатился до края железнодорожного моста, до тупика, каким кончался его рельсовый путь, и подавил с тыла прямым огнем оторопевший пулеметный расчет противника в окопчиках.

И все же комдив дал команду прекратить форсирование Донца. Даже с захваченным бронепоездом переправа могла обескровить дивизию. Нужна была артиллерия, поддержка пехоты.

Слева от Шевчука на Энск наступал красный полк имени товарища Бебеля. Он должен был подойти к городу около полудня.

Чтобы поторопить пехоту, комдив послал навстречу полку пару связных. Он даже отдал им своего любимого лихого коня, а сам пересел на низкорослую чубарую кобылку... Неудача терзала его сердце.

Канонада стихла. Замолкли пушки бронепоезда, перестали бить и белогвардейские батареи с противоположного берега. Медленно заворочались вокруг своей

оси тяжелые башни, закачались пушечные стволы, выискивая новые цели. Вязко закрутились от рук наводчиков артиллерийских расчетов пушечные шестеренки в топкой смазке. В биноклях и броневых щелях появились очертания новых мишеней. Прозрачные кресты делений на цейсовских окулярах накрыли розовый город, стальной мост, сонную реку, толчею сражения и голубиные сизые тучи невидимой птичьей сетью баллистики, и сейчас вся эта убийственная артгеометрия подрагивала и сверкала на солнце, словно в ее силках шевелилась незримая исполинская добыча.

Крестообразная тень аэроплана-разведчика рыскала по земле как распятие в поисках жертвы. Бронепоезд покатил обратно на середину моста, шестидюймовые жерла нацелились на огневые позиции врага и дали первый залп... Недолет... взрывы зарылись в воде. Вторым залпом разнесло пивной павильон, где находился узел связи артиллерийских дивизионов. Часть батареи была хорошо видна с моста: побежали врассыпную от орудий артиллеристы, замахали пистолетами офицеры, огонь смолк, и пушки стали откатывать еще дальше в глубь порта, за приземистые пакгаузы.

В перестрелку с бронепоездом ввязалась и легкая пушка с палубы «Николаева». Она мелко и трусливо тывкнула и тотчас получила в ответ жуткий залп из пары броневых башен. Один снаряд лег правее борта, зато второй угодил прямо в пароходную корму и выдрал из палубы канатную лебедку. Сорванный с якоря пароход развернуло упругим течением и стало сносить к мосту, прямо под стволы бронепоезда. Тогда из скошенной трубы «Николаева» торопливо повалил густой дым, забурчала в утробе паровая машина, заколотили по волнам гребные колеса, один поворот, другой, и машина встала. Исправлять неполадки уже не было времени, и первыми попрыгали в воду солдаты орудийного расчета, затем плюхнулась шлюпка с матросами, захлопали пистолетные «аплодисменты» из офицерских наганов. Это капитан и его помощник пытались остановить позорное бегство с корабля, но еще два прямых попадания шестидюймовки, и пароход запылал, чудом удерживаясь на плаву, тихо подплывая под мост, пока не ударился носом о бык моста, не накренился; покати-лась, подпрыгивая, за борт брошенная гаубица.

В этот момент саперам удалось подорвать рельсы на правом берегу, со стороны энского городского вокзала.

Теперь бронепоезд был заперт с двух сторон и мог передвигаться лишь взад и вперед по железнодорожному мосту над рекой.

И все же он был грозной и мощной силой.

В бою наступила передышка. Кавдивизия в полном боевом порядке ушла под прикрытием дубовых перелесков.

Аэроплан-разведчик продолжал по-комариному питать в высоту. Иногда он снижался над рекой, и пилоту становились видны туши коней на мелководье. Он даже замечал, как одна раненая лошадь поднимает голову и неслышно ржет. В броневые щели бронепоезда Круминь хорошо различал два круглых кольца: голубое внутри красного — на плоскости самолета марки «фарман». Когда-то он летал на «фарманах». Сейчас, наблюдая из башни за аэропланом, Ян Круминь — комиссар и пилот — по-новому разглядел знакомые опознавательные знаки царских времен: широкий красный обруч надежно окружал голубое кольцо. Это было символично.

Над мостом «фарман» набрал высоту.

В этот момент догорающий «Николаев» стал, шипя, уходить в воду, как исполинская головешка.

Белые ждали почти. С электрическим свистом вызывали подмогу телеграфные аппараты в штабе на Царской площади, неслась отборная ругань по проводам. Еще несколько раз в течение дня красные и белые пытались пробиться к бронепоезду. Но у красных не хватало сил — пехотный полк запаздывал, а белым взять бронепоезд было не по зубам, хотя они и вывели из строя два броневагона.

Красный стрелковый полк имени немецкого революционера товарища Августа Бебеля подошел к Энску с опозданием на четыре часа.

И вновь в небо взлетела красная сигнальная ракета, распустилась в вышине шипящим огнем, и снова река дрогнула от переправы сотен бойцов и лошадей. Штурм был поддержан орудийным огнем мощных гаубиц и шестидюймовых мортир. Река побелела от пены, вспышки ракет сделали штурм еще более устрашающим в своем тысячеголовом натиске; облепила мост муравьиными гроздьями пехота, побежали вдоль искореженных рельсов солдаты со штыками наперевес, заколотили кулаки по броне. Свои! Открылась стальная дверца, и на шпалы вывалился оставшийся в живых однорукий боец, раз-



детей до пояса, сырой от пушечной жары, с наганом в левой ручище. Он попытался бежать вместе со всеми в атаку, но упал без сил на шпалы, уронил оружие с двенадцатиметровой высоты в воду.

...Поздним вечером накануне штурма в номере Умберто Бузонни шли лихорадочные сборы: итальянское семейство собиралось в очередной побег. Потрепанная неизвестными гарпия с ободранным крылом переполнила чашу терпения антрепренера, и все же Бузонни не решился бы на бегство, если б ему не удалось весьма основательно напоить приставленного к драгоценной птице часового, который оказался равнодушным к местной наливке. В данную минуту он был надежно отстранен от исполнения приказа и храпел в швейцарской каптерке, предусмотрительно запертый на ключ. Впрочем, в этом и не было особой нужды.

Ринальто после беготни по городу удалось найти подводу, хозяин которой согласился довезти их ближе к Ростову.

Он должен был подъехать к двенадцати ночи.

— Престо, престо! — поторапливал Умберто шумное семейство.

От Ростова он намеревался пробираться в Новороссийск, а оттуда морем через Константинополь в Геную и, наконец, в родную Флоренцию.

Сборы не обошлись без ругани и слез.

Гарпия к вечеру немного оправилась от взбучки, и когда Ринальто и Марчелло стали готовить клетку к переезду, обрела свой прежний злобный облик.

Выйдя в коридор гостиницы, Умберто спустился на второй этаж и подошел к номеру штабс-капитана. На этот раз он заметил полоску света из приоткрытой двери.

Ах, Умберто, Умберто... Не стоило ему стучать сегодня, да еще в столь поздний час в дверь... но жадность толкала вперед: он хотел напомнить об обещанном за услуги вознаграждении. А вдруг?

Но откуда ему было знать о катастрофическом провале блестяще задуманной операции, о той оглушительной ругани, которую только что получил Муравьев в кабинете генерала Арчилова вкупе с обещанием отдачи под военно-полевой суд, и, наконец, откуда было знать Бузонни о глубине того крошечного хаоса, в ко-

торый вдруг погрузилась душа нашего геометра, господина Нотабене.

Умберто вкрадчиво постучал.

— Войдите.

Муравьев сидел в галифе, вправленных в пыльные сапоги, в подтяжках крест-накрест поверх нижнего белья за круглым ломберным столиком и безуспешно пытался разложить пасьянс. Лицо его было густо намазано кремом «Танаис» («устраняет упорные недостатки кожи»). Раскрытая баночка стояла среди карт. Штабс-капитан был уже сильно пьян, но в его прозрачных глазах стояла холодная трезвость. Эти спокойные глаза и обманули Бузонни.

— Господин Муравьев, извините за столь поздний визит, но мы сейчас уезжаем. Паола и девочки хотят домой. А я устал спорить с ними. Я оставляю вам птицу.

Пьяная, но беспощадная мысль штабс-капитана как раз набрела на вопрос: почему 15 апреля 1912 года на четвертые сутки плавания чудо нового века, левиафан, океанский лайнер «Титаник», судно водоизмещением 46 тысяч тонн, врезалось у Ньюфаундленда в айсберг и в стометровую пробоину устремилась вода? Не выдержала ни хваленая английская двойная рубашка, ни 16 водонепроницаемых отсеков. 1500 человек погибло. Вершина технического разума канула в океан заодно с танцевальными залами, турецкими банями, крытым бассейном, кортом, зимним садом, со штатным садовником и операционной. В этом чудовищном факте штабс-капитану виделся какой-то неприятный и очевидный вывод...

Голос Бузонни вывел его из задумчивости, и, всплывая из мрака взбаламученной души к самому себе, к картам на столике, к словам антрепренера, Алексей Петрович печально думал о том, что жизнь, видимо, не собирается терпеть его математического упражнения, что несчастная Расея, которую он в общем-то никогда не любил по-настоящему, как небо от земли далека от любимых его сердцу схем, планов и диспозиций, от его аккуратного блокнота, на страничке которого еще утром было так легко маршировать, так уверенно наносить стрелы наилучших ударов, чертить линии временной обороны, выстраивать по ранжиру крестики из нижних чинов.

Машинально подведя под этими истинами мысленную черту, штабс-капитан с пьяным недоумением уста-







вился на Умберто, который наконец-то попал в фокус его зрения.

Затрещал телефон.

Муравьев молча поднял трубку. Дежурный телефонист сообщил, что его вызывает станция Жлобня. Звонил из штаба полка адъютант полковника Гай-Голубицкого поручик Никола Свинков. Они были приятелями еще с отроческих лет.

— Алексей, — донесся отчетливый голос Никола. — Алексей, слышишь меня? — плаксиво кричал Никола. — Станция окружена. Слышишь, стреляют? Голубицкий бездарность, и спирт кончился! Какая-то банда имени Стеньки Разина и пресвятой богородицы. Сашку Монкина убили — лежит в коридоре... Лешка, ты чего молчишь, а? Сашку прикончили, а я с утра напился. Слышишь?

Слушая пьяную речь Никола, Алексей Петрович молчал.

— Слышь, Алексей, — продолжал орать в трубку Свинков, — Сашка лежит в коридоре пузом вверх, с него уже сапоги сперли, портупею срезали, а я в шкафу отсиделся. Может, застрелиться? Ей-богу! Станция горит, в штабе темно, я один, во рту пересохло...

Муравьев, не дослушав, положил трубку на никелированный рычаг и тут же нажал телефонную кнопку для вызова дежурного связиста.

— Слушаю, — отвечал вышколенный голос прапорщика Насекина.

— Что там в Жлобне?

— Еще не разобрались, господин штабс-капитан.

Муравьев опустил трубку и снова уставился на Умберто.

— Господин штабс-капитан, — вежливо продолжал тот, — вы обещали мне вознаграждение за содействие освободительной армии... здесь, в гостинице, я заметил в банкетном зале чайный сервиз на 12 персон. У меня большая семья. Я разорен...

Штабс-капитан стал медленно подниматься, и только тут Умберто заметил револьверную кобуру, болтающуюся вдоль правой ноги. И ему стало страшно.

— Свслочь, — четко, как по слогам правописания, сказал Муравьев, протягивая к нему руки, — чай хочешь пить? С сахаром?

Он схватил Бузонни за грудки и, разорвав рубашку, бурля от ненависти к итальянцу, задыхаясь от внезап-

ной жалости к себе, чуть ли не плача, матерясь, потащил его к двери, пиная сапогами, коленями и раздирая лицо антрепренеру.

— Скотина! Любимец публики! Сингапур! Нагасаки! Турне по земному шару... Подлец!

В коридоре он прижал багрового итальянца к стенке.

Спускавшие по лестнице клетку с гарпией Ринальто и Марчелло бросились на помощь дяде и отцу. Муравьев все понял.

— Ни с места! — закричал он, вынимая из кобуры непривычный для руки тяжелый маузер вестового; лицо его магнетически сияло кремом «Танаис»; глаза метали молнии.

Бузонни попытался втиснуться в стенку. Ринальто и Марчелло замерли на месте. И тут Алексей Петрович наткнулся на чей-то насмешливый взгляд. Чьи-то презрительные глаза были полны едкой брезгливой издевки и пронзали его насквозь. Алексей Петрович оглянулся на перепуганного насмерть Умберто, зачем-то погрозил ему грязным пальцем.

На цыпочках, с дурашливо выпученными глазами, он подкрался к клетке и, сунув дуло сквозь мелкую сетку, с облегчением дважды выстрелил в проклятую птицу с черной перевязью на белом горле и траурными полосами на голених.

Гарпия покатилась в угол, злобно корчась и суча голыми лапами, словно пытаясь в последнюю минуту выклевать пули из тела.

Муравьев вернулся к себе, запер дверь и пил в одиночку почти всю оставшуюся ночь, пока не завалился на постель, как и был, в галифе, в подтяжках крест-накрест, не сняв сапог... Ему снился проклятый белый голубок, который прятался за облаками почему-то в золотой античной маске, которую он держал перед собой двумя крылышками... Снился двуглавый царский орел, который оживал на карте Российской империи и нападал на него с клекотом из двух клювов.

Его разбудил гул орудийной канонады со стороны железнодорожного моста.

...К утру белые части были разбиты и выбиты из Энска. Не спавший город замер в надежде... Вывалился из легкового «паккарда» на бульжник убитый разрывом шрапнели генерал Арчилов. Адью! Срезало снарядом верхушку татарской мечети с серпом полумесяца, так похожим на коготь. Сгорел дотла письменный

стол штабс-капитана, которым солдаты из штабной охраны забаррикадировали вход в бывшее благородное собрание... взошло снова солнце, погасла звезда, кончился штурм.

В тот же день на площади были торжественно построены ровными квадратами отличившиеся роты стрелкового полка, рядом с ними поставлено конное каре коминтерновцев, и комиссар прокричал с самодельной трибуны хриплым сорванным голосом строки приказа по армии, написанного страстным языком революции, которому училась новая Россия:

«Объявляю нижеследующий геройский подвиг большевиков-подпольщиков и пролетариев свободного города!.. Получив приказ поддержать штурмовые части, подпольщики и рабочие депо захватили бронепоезд беляков «Князь Михаил» и доблестно выполнили свою задачу до смертного конца, оставшись в кольце озверевшего врага... В продолжение всего дня, вплоть до вечера, мы не смогли помочь нашим братьям по классу, а только с окровавленным от стыда сердцем слышали сильную орудийную и пулеметную стрельбу на подходах к мосту. Пробиваясь на помощь сквозь густые белогвардейские цепи, еще не получив подкреплений, мы горько понимали, что силы неравны, и гордо знали, что жив еще бунтарский дух святых героев и не сломлено их яростно-храброе сопротивление николаевским палачам. Даже враги были ошеломлены и подавлены железной волей революционеров.

Поняв, что мы не можем пробиться сквозь кандалы беляков, оставшиеся в живых борцы взорвали два боевых вагона и перешли на первую платформу. Будучи лицом к лицу с разъяренной сворой врагов, без помощи и даже без малой надежды на нее, отважные смельчаки продолжали исполнять свой святой долг перед пролетариатом и нести свою жизнь на алтарь красной Советской России!

Еще за два часа до решающей атаки и прихода подкреплений мы слышали умирающую пулеметную, а затем и наганную стрельбу на захваченном мосту. Они подавали нам красную телеграмму о том, что революционер не сдается до тех пор, пока не прольет свою кровь до последней капли на отеческом поле народной битвы правды с кривдой!

Вечная память павшим в неравном бою, память о



которых будет klokотать огнем в наших сердцах, пока мы живы!

Сорвем с израненной груди России нательный крест капитала!

К нам, трудовое казачество!

Слава павшим героям смертельной борьбы за великую идею освобождения людей!

Да здравствуют освободители рабов всего земного шара!»

Приказ был выслушан молча, а затем по бывшей Царской площади над ротами и конными эскадронами трижды прокатилось: «Ура!»

Третьим слева в первом ряду эскадрона стоял Караул, которого стреножил на городской окраине лихой красный кавалерист татарин Абдулла, он и дал коню новое звучное имя Юлдуз, что значит Звезда. Троекратное «ура» распугало городских сизарей, которые до этого смело разгуливали по булыжнику. Среди взлетевших птиц был один турман: белая птица выше всех взлетела над площадью и еще долго кружила в вечерней тишине.

Конная дивизия имени Третьего Интернационала наступала на Ростов.

И несется над землей маленький белоснежный голубь Фитька. Смелый, как андерсеновский оловянный солдатик. К его лапке прикреплена гильза, а в ней записка.

А над Энском, тихим губернским Энском, летает страшная, доселе невиданная обывателем птица, южноамериканская гарпия Цара.

А время-то какое! Девятнадцатый год. Сшибаются в сабельных атаках номерные казачьи полки и полки имени героев всех революций.

Идут в атаку офицерские батальоны генерала Дроздовского.

Стучат по разбитым колеям бронепоезда. Дерется Юг России, сражаются на Севере, в Сибири, на Дальнем Востоке, в песках Туркестана.

Гражданская война.

Но летит к Энску белый турманок, и караулит его зловещая химерообразная птица.

Когда мы были мальчишками, мы зачитывались книгами о гражданской войне. Мы до кулачных расправ спорили, кто был главнее, Щорс или Пархоменко, Котовский или Щеденко.

В нашем доме жил человек, я сейчас не помню, как его зовут. Он ходил тяжело, чуть враскачку. Так, по нашим представлениям, должны были ходить конники времен гражданской. И одет он был в полувоенный костюм, перепоясанный широким ремнем.

Я уж не помню, кто первый сказал, что это один из легендарных комдивов. Наши рассказы о нем обретали все новые и новые подробности. Они ширились, обрастали, становились все живописнее и живописнее. На него бегали смотреть все мальчишки с нашей улицы.

Потом, много позже, я случайно узнал, что он заведовал дровяным складом всю гражданскую войну.

Но для нас главное было не в нем, а в нашей мальчишеской трансформации прочитанных книг. Ах, эти книги о гражданской

войне! Их было так много, что невозможно сегодня даже вспомнить авторов.

Конечно, «Красные дьяволята» П. Бляхина и «Котовцы» А. Гари мы помним наизусть.

Позже к нам пришел Алексей Толстой со своими «Хождениями по мукам». Беспощадная проза Ивана Макарова, романтический Сергей Буданцев.

О той далекой войне написано много. Если бы пришлось составлять антологию приключенческой литературы о том героическом, полном романтики времени, я бы поставил туда книги Сергея Диковского, «Падение Даири» Александра Малышкина, незаслуженно забытого прекрасного писателя Сергея Колбасьева, почти всю прозу Бориса Лавренева.

К великому сожалению, у наших писателей пропадает вкус к истории.

Это понятно. Наше время, стремительное и прекрасное, настолько насыщено событиями, что кажется, просто невозможно пройти мимо любого из них. Но есть в нашей литературе один жанр — приключения, — который просто обязан постоянно обращаться к истории. Потому что героизм сегодняшнего рождался многие годы назад.

Анатолий Королев написал не совсем обычную повесть. В «Страж западни» органично вписаны интереснейшие куски о старом русском цирке, и, как ни странно, они не только не перегрузили сюжет, а, наоборот, сделали его более упругим. Внесли в него некую краску эпохи.

Гротесковый прием враждующих фокусников помог автору написать характер начальника отделения контрразведки штабс-капитана Муравьева. Он получился неоднозначным. Мы видим не тупого недоумка, чем, пожалуй, иногда грешат некоторые литераторы, а человека острого, с хорошей реакцией, даже с выдумкой.

Да, именно с выдумкой. Это же он, узнав, что подпольщики ждут почтового голубя, посылает в небо сторожить его голодную гарпию.

Муравьев умный и отважный враг. И тем веселее и прекраснее победа над ним председателя подпольного ревкома Яна Круминя.

В повести столкнулись враги равные. Но у Круминя есть то, чего не может быть у Муравьева, — идеологическая убежденность, вера в правоту дела, за которое сражается он.

И побеждает эта вера.

Мне нравится, как выстраивает сюжет Анатолий Королев.

В нем есть все: жертвенность ради победы, тонкость и изощренность ума противника и элемент гротеска.



Возможно, кто-то скажет: «Как так: героизм и гротеск?» Совместимы ли два этих понятия в литературе?»

Давайте вспомним талантливую повесть, кстати о том же времени, Владимира Казачинского «Зеленый фургон».

Она вся построена на приемах буффонады. Она предельно комедийна. Но все это до той поры, пока не наступает время поступков. И здесь действие обретает направленность трагическую, суровую и мужественную.

В такой манере написана и повесть Анатолия Королева.

Давайте вспомним полную трагизма смерть вестового Сашки-Соловья.

Очень радостно, что молодой писатель обратился в своем творчестве именно к теме гражданской войны.

Прочтя повесть, вы увидите главное — как решает автор извечную тему борьбы добра и зла.

Летит над землей белоснежный голубь Фитька. Над землей, по которой проходят до той поры неведомые истории кавалерийские рейды. Над землей утрат, побед, романтики революции.

Эдуард Хруцкий

## СОДЕРЖАНИЕ

Пролог . . . . .	3
Часть первая . . . . .	9
Часть вторая . . . . .	64
Часть третья . . . . .	113
«На той далекой, на гражданской...» Э. Хруцкий . .	188

**Королев А. В.**

**Б—68** Страж западни: Повесть. — М.: Мол. гвардия, 1984. — 191 с., ил — (Стрела).

70 к. 100 000 экз.

Книга молодого прозаика посвящена одному из героических эпизодов гражданской войны. В повести несколько сюжетных линий. Это и рассказ о поединке большевиков-подпольщиков с белогвардейской контрразведкой, и судьбе восточного Сашки Соловьева, посланного с секретной депешей, это и приключения почтового голубя Фитьки, который летит через линию фронта с шифровкой для подпольщиков, а также эпизоды, связанные с искусством цирка.

К 4702010200—237  
078(02)—84 172—84

**ББК 84Р7**  
**Р2**

ИБ № 3902

**Анатолий Васильевич Королев**

**СТРАЖ ЗАПАДНИ**

Рецензент **С. Абрамов**

Редактор **Т. Мальцева**

Художник **Л. Безрученков**

Художественный редактор **К. Фадин**

Технический редактор **Т. Шельдова**

Корректоры **И. Ларина, Н. Самойлова**

Сдано в набор 27.04.84. Подписано в печать 09.08.84. А00780. Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 10.08. Условн. кр.-отт. 10.5. Учетно-изд. л. 10.7. Тираж 100 000 экз. Цена 70 коп. Заказ 624.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Суцевская, 21.



Повести и рассказы Анатолия Королева печатались в журналах «Урал», «Уральский следопыт», в приключенческих сборниках «Поиск».

Он окончил Пермский университет, служил в армии, работал в пермской комсомольской газете, был участником зонального совещания молодых литераторов Урала и Западной Сибири.

«Страж западни» — первая книга Анатолия Королева.